

**ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ**

# **ЗАКОЛДОВАННАЯ**

**РАССКАЗЫ**



Москва 2016

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2=411.2)6-44  
С 32

**Сергеев Л.А.**

С 32            Заколдованная: Рассказы. – М.: Издательство «Спутник +», 2016. – 300 с.

ISBN 978-5-9973-3929-6

В сборнике рассказов представлены необычные романтические и неромантические истории. В рецензиях на рассказы известные писатели и критики отмечают проникновенное внимание автора к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2=411.2)6-44

Оформление обложки – автор.

Отпечатано с готового оригинал-макета.

ISBN 978-5-9973-3929-6

© Сергеев Л.А., 2016

## МОЙ ВЕЛИКИЙ ДРУГ

И на многолюдной улице, и в тиши двора — всюду он был значителен своим присутствием, всюду был хозяином положения, всегда говорил напрямик и слова его были весомые и четкие, как отливки из металла. От него исходила властная подъемная сила, некий магнетизм, который будоражил окружающих. Несговорчивый бунтовщик, лидер по натуре, он заражал своей энергией, за ним шли, ему верили; бывшие фронтовики меж собой звали его «командир», «крутой мужик». Неутомимый непоседа, он вечно спешил, точно экономил время, хотел не просто побольше сделать, а выжать из жизни все, что можно выжать в его положении. Его несгибаемость была ответом на вызов судьбы. И самое поразительное — несмотря на увечье, он сохранил светлый взгляд на мир и ко всяким бытовым неурядицам — а их хватало в то послевоенное время — относился весело, не разухабисто-весело, а иронично-весело, чем снимал у людей раздражительность и злость; правда, иногда его ирония отдавала горечью. Таким я запомнил фронтовика «командира» дядю Колю, безногого инвалида, передвигавшегося на каталке с подшипниками.

Широкогрудый, широколицый, всегда гладко выбритый, он, в отличие от других фронтовиков, носил китель без наград и нашивок за ранения, и никогда не говорил о войне. В то время инвалиды с утра до вечера торчали в пивной; многие из них опустили — ходили небритыми, оборванными, изъяснялись без всяких ограничений — через слово пуляли матом; особо запойные дебоширили, дрались друг с другом костылями, а разбредаясь по домам, орали во всю глотку и швыряли камни в окна со слепой незатухающей ненавистью. Страх, сокрушающий все ужас, ка-

тился перед пьяными инвалидами... Кстати, по слухам, некоторые из них и не были на фронте, а получили увечья под колесами поездов и трамваев. В самом деле, кое-кто из инвалидов так афишировал свои подвиги и бравировал наградами, что это вызывало подозрение. Говорили, что эти «герои» купили ордена и медали на барахолке (что действительно практиковалось). Днем некоторые инвалиды просили милостыню у церкви, выставляли напоказ обрубки рук и ног и пели матросские песни, вроде: «...морская пучина была нам могилой... и дно!». Им подавали — известное дело, народ наш всегда отличался состраданием и доверчивостью. Говорили также, что кое-кто из этих нищих держат в матрацах тысячи, но в это мало верилось — богатство и беспорядное пьянство — малосовместимые понятия.

Дядя Коля тоже выпивал, но делал и это красиво, с достоинством, решительно не принимая никакого сочувствия, не допуская к себе жалости. Всем видом и поведением он как бы подчеркивал огромную дистанцию между падшими пьяницами и теми выпивающими, которые всего лишь «снимают дневное напряжение, а вообще-то сильнее всех обстоятель-ств». Первых он не терпел, считал, что они «сломались, погрязли в пессимизме, заливают водкой боль и тоску»; а такие, как он, выпивают только для того, чтобы «получить новый заряд для работы».

Его появление в пивной производило сильное впечатление. Он въезжал на каталке, приветствовал всех возгласом:  
— Здорово орлы!

Расстегивал ремень, державший обрубки ног на каталке, и легко вскакивал на табурет, при этом твердым жестом останавливая тех, кто бросался на помощь. Пока буфетчик наливал и подносил к столу стакан водки, дядя Коля отве-

чал на многочисленные «за тебя, командир!» — улыбался и вскидывал кулак, что означало — «так держать!». Но иногда хмурился, если замечал в углу не в меру разгулявших собутельников.

— Эй, там! — грозно одергивал разгулявших. — В чем дело? Разговаривать в нормальном режиме! Делай, как я сказал!

И под его пристальным повелительным взглядом чрезмерно разгулявшие умолкали и съеживались — никто не мог противостоять его тяжелому взгляду. В пивной он держал власть крепко, и все это знали.

Опрокинув стакан, дядя Коля тут же прощался:

— Наметил на сегодня еще кое-что сделать.

Он получал пенсию и вполне мог бы не работать, но никогда не сидел без дела — с усердием, искусно паял, лудил кухонную утварь соседям; как надомник, чинил плитки и керосинки из мастерской, а одно время даже работал электриком; катал от дома к дому с монтерской сумкой и складной дюралевой лестницей за плечами.

— Дел невпроворот, — подмигивал встречным. — Мне повезло, что здесь живу — в домах проводка гнилая, розетки на ладан дышат, — так что работы по горло.

Он «брал дома штурмом», и все делал добротнo, на совесть, по собственному графику; выполнял намеченное, тут же забывал о победе и шел дальше — ставил новую цель. И ничто не выбивало его из колеи: ни отсутствие материалов, ни обесточивание сети, когда вырубали электричество и приходилось работать вслепую, ни промозглая погода, когда давали о себе знать раны... Никто никогда не видел его в унынии, в упадке сил, казалось, он сделан из железной арматуры, особо прочных сплавов. Глядя на него, ду-

малось, что мужество есть не что иное как умение справляться с трудностями. Кстати, у него и фамилия была крепкая — Каменщиков...

Дядя Коля обитал в пристройке к нашему общежитию, жил одиноко, но явно был сильнее своего одиночества. В его каморке царила благородная нищета: над диваном, изъеденным молью, висели фотографии боевых товарищей и среди них ярмарочные картины — репродукции Кустодиева. На столе, среди ждущих ремонта дырявых самоваров, кастрюль и чайников, возвышалась стопка книг; а под столом находился предмет всеобщей зависти — трофейный аккордеон. В помещении даже не было шкафа — сплошная пустота, но торжественная пустота, в которой витал творческий дух.

По слухам, до войны у дяди Коли была невеста; она ждала его всю войну; но, вернувшись калекой, он сам отказался от нее, «чтобы не портить ей жизнь, не обрекать на незавидную долю».

В те годы слухи были трех родов: несерьезные, из очереди — «обс» (одна баба сказала) — эти слухи дядя Коля называл «сплетнями, к которым настоящий мужчина не должен прислушиваться». Были слухи серьезные, исходящие из достоверных источников, и опасные слухи, которые просочились в народ неизвестно каким способом. Последние слухи несли важную предостерегающую информацию, их передавали шепотом, за них могли и посадить. Известное дело, в системе, где народ рассматривается как стадо баранов, и все построено на строжайшей секретности, опасные слухи множатся и распространяются с невероятной скоростью. В нашем провинциальном городе слухи всех этих разновидностей постоянно носились в воздухе.

Для нас, подростков, дядя Коля был самым близким другом, а некоторым заменял и отца... Несмотря на занятость, он ежедневно выкраивал время специально для нас и относился к нам с повышенными требованиями, жестковато, без всякой скидки на возраст. Чуть что восклицал:

— Я здесь! В чем загвоздка?

Дотошно, с испытующим взглядом выпрашивал про занятия в школе и все остро воспринимал, ему до всего было дело. Сурово распекал двоечников:

— Эх ты, не мог осилить такой предмет! Я здесь! Возьми себя в руки, и чтоб на днях все исправить! В нормальном режиме!

И наоборот, щедро хвалил за хорошие отметки:

— Молоток! Нормальный ход! С тобой хоть в разведку! Я здесь!

Дядя Коля прямо-таки навязывал нам книги, которые брал в заводской библиотеке, а потом спрашивал, «что понравилось, что нет» и подробно объяснял идею, которую проводил автор.

Он помогал нам мастерить летние и зимние самокаты, играл с нами в «чижа» и «городки», причем сам изготавливал лопатки и биты. Поощрял и другие игры, кроме картежных и «расшибалки», — тем самым вселял в нас определенные нравственные понятия.

— В игре должен быть спортивный интерес, достижение, — говорил он. — А в картах один азарт и ни шиша больше. Я здесь!.. А «расшибалка» — это вообще черт-те что! Корысть одна. Ради интереса на деньги не играют. Так чтоб с этим было покончено. Нормальный ход! Делай, как я сказал! Уважай мою лысину! (он лысел и, по моим наблюдениям, гордился этим)...

Кстати, нам дядя Коля казался почти пожилым, а ему было-то всего двадцать пять, от силы — двадцать семь лет.

Что особенно ценно — дядя Коля не просто скрашивал нашу жизнь — он, бывалый, всезнающий, личным примером как бы обозначал для нас четкие ориентиры на будущее. И в этом смысле он, калека, был несравненно выше многих здоровых людей. Среди этих здоровых попадались и нравственные уроды, которые жили только для себя, занимались спекуляцией и накопительством, а то и служили доносчиками (добровольными осведомителями). Кстати, именно такие нас всерьез не принимали и называли «уличной шпаной»... Естественно, рядом с такими уродами отчетливо вырисовывалось мужское величие дяди Коли, его превосходство.

Иногда мы играли в волейбол; сеткой служил старый, полуистлевший бредень, мяч заменял резиновый «дутик» (о настоящем, кожаном только мечтали), тем не менее наши матчи проходили боевито, на почти профессиональном уровне (даже собирали зрителей), чему способствовало судейство дяди Коли. По слухам, вполне серьезным, до войны дядя Коля был отличным спортсменом; выступал за заводскую волейбольную команду, взлетал над сеткой выше всех и «гасил» мячи на передней линии, «ставил мертвые колы».

Но, конечно, главной нашей игрой считался футбол, и здесь дядя Коля проявлял себя в полном блеске. Долгое время вместо мяча мы гоняли шапку-ушанку, набитую газетами, но в одно прекрасное воскресенье дядя Коля вкатил во двор в обнимку с настоящим кожаным мячом.

— Купил на барахолке за бешеные деньги, — с видом триумфатора объявил нам. — Я здесь! Нормальный ход! Собирайте команды, устроим матч века!

Дядя Коля защищал ворота и как игрок был великолепен. Одна его экипировка чего стоила! Оголенный по поясу, в черных перчатках и черной кепке, нахлобученной до бровей, он выглядел в воротах, как пантера в клетке: мощными рывками, со вздутыми жилами на теле, он метался от стойки к стойке, взмахивал руками и страшно гримасничал, переживая каждый трюк полевого игрока, то и дело кричал команды:

— Пас налево! Откинь назад! Дай на выход! Я здесь!

Задолго до знаменитого Яшина, дядя Коля руководил игрой всей команды и расширил функции вратаря: стремительно выезжал за границы вратарской площадки на перехват пасов противника и отбивал мяч культиями. Случалось, мяч задевала каталка и он резко менял направление. Мы относились к этому сбою с пониманием, но дядя Коля мгновенно скидывал руку и безжалостно назначал себе штрафной.

А в пределах вратарской площадки дядя Коля вообще творил чудеса: каким-то невероятным образом, отталкиваясь руками от земли, зависал в воздухе вместе с каталкой и «вытягивал» даже пушечные верные «девятки»... Низовые мячи вообще брал без особого напряжения — мы только и успевали заметить мелькнувший могучий торс, деревянный квадрат, да вращающиеся с визгом подшипники...

После игры спускались к реке, устраивали заплыв по течению, и вновь дядя Коля показывал класс: на одних руках опережал всю нашу ватагу.

Возвращаясь с реки, поднимались по сыпучей круче, и каталка дяди Коли увязала в песке. Бывало, кто-нибудь из ребят заикнется:

— Не помочь ли?

Но дядя Коля сурово бросал:

— В чем дело? Это мы берем с ходу, штурмом! А ну, братва, выкладывайся до конца! Я здесь! — и с каким-то ожесточением взбирался наверх; он был двужильный, не иначе...

Как правило, после футбола и вылазки на речку, дядя Коля приглашал нас к себе; раздавал книги, угощал чаем, заваренным шиповником, а после чаепития доставал аккордеон и под мягкие звуки негромко пел довоенные песни; только довоенные, оптимистичные и радостные, и никогда не пел песен времен войны. Много раз ребята выпрашивали дядю Колю про войну, про его боевые дела как танкиста (он служил водителем «тридцать четверки» — это было известно доподлинно, это был самый серьезный слух), но каждый раз дядя Коля обрывал спрашивающих:

— Жизнь продолжается, и нечего теревить прошлое! Я здесь! — и, широко раздвинув меха инструмента, затягивал «Крутится, вертится шар голубой...» или «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки».

Закончит песню, хлопнет по аккордеону ладонью:

— Все, баста! Хватит наяривать! Отбой, братва! Все по домам! Делай, как я сказал!..

В те дни я никак не мог понять: почему все, связанное с войной, являлось для дяди Коли запретной темой? И только повзрослев, понял и в полной мере оценил твердость его духа, его железный характер и жестокость к самому себе.

Однажды, встретив меня во дворе, дядя Коля сказал:

— Есть боевое задание! Зайди вечерком...

Надо сказать, меня дядя Коля несколько выделял из общего мальчишеского клана, благодаря моему дяде, который работал слесарем и рассчитывал, что и я пойду по его стопам, а дядя Коля испытывал особую симпатию к представителям этой профессии, поскольку до войны сам слесарил (без всяких слухов, он это сам подтверждал).

Вечером, когда я пришел, дядя Коля спросил:

— У тебя на завтра какие планы?

Какие у меня были планы? Стояло лето, избыток свободного времени, и я с утра до вечера слонялся во дворе.

— Мне нужен напарник, — продолжал дядя Коля. — В одном доме неважнецкая проводка. Надо заменить, сделать правильный порядок вещей, нормальный ход!.. Задание ответственное и одному сложновато справиться. Придешь на подмогу?.. Я здесь!

И вот в тот день, когда мы меняли проводку, вернее, после того, как закончили работу, дядя Коля впервые заговорил о войне, открыл мне свою тайну. По пути к «общаге» он заглянул в пивную, опрокинул стакан водки, мне вынес бутерброд и беззлобно хмыкнул:

— Слизняки, а не мужики, сдвинулись по вертикали. Малодушные, и пить не умеют... Хмелеют от стакана, разваливаются, лясы точат, а дела стоят. Я здесь! «Жизнь, — говорят, — неважнота». А что неважнота-то? Сам делаешь свою жизнь. Своими руками, своей башкой... В моем экипаже «тридцать четверки» был парень наводчик. Леха... Его фото у меня на стенке... И вот, значит, раз по нам ударили из гаубицы и башня отлетела, как спичечный коробок. Я здесь! И Лехе выжгло глаза. Да-а... Потерять зрение, скажу тебе, тяжелое испытание для человека. Но Леха не сдался. Это по

мне. Он, понимаешь ли, стальной парень... И сейчас работает на заводе, собирает схемы. Нормальный ход! Живет в Саратове. Мы переписываемся. Ну, его мать мне пишет, с его слов.

— А вы, дядь Коль?.. — выдохнул я. — Вас тогда же?..

— В другой раз. Подорвался на mine... Мы горели, я вылез из люка. И спрыгнул с машины прямо на нее, милую... Не стоит об этом! Я здесь! Стоит сказать о другом. Когда мне оттяпали ноги, я понял, что попал в затруднительное положение. Даже подумал: «А не пустить ли пулю в лоб?». Потом взвесил: «Ну, допустим, предположим, меня уже нет. Кому это на руку? А ведь я могу еще кое-что сделать дельное. Жизнь продолжается, — сказал себе. — Я здесь! Мы еще поборемся и просто так не сдадимся».

В тот день я понял, почему дядя Коля всегда спешил на работу — он как бы шел в очередной бой.

И был еще один день, который врезался в память... Я почему-то оказался в центре города у магазина «Рыболов и охотник»; кажется, рассматривал всякие принадлежности, прикидывал, что куплю, когда стану слесарем и разбогатею. И вдруг, случайно увидел на противоположной стороне улицы дядю Колю. Он явно прятался за дерево и укрдкой наблюдал за кем-то в сквере. Я посмотрел туда же и увидел молодую женщину — она играла в мяч с малышом.

Я ринулся через улицу и уже хотел окликнуть дядю Колю, но, не добрав нескольких шагов, разглядел... слезы в его глазах. Это было настолько неожиданно, так не вязалось с ним, что я застыл, как вкопанный... Долго я стоял, и все это время дядя Коля, не отрываясь, смотрел в сквер, смотрел как-то тускло, с гримасой боли. Потом тяжело вздохнул и,

опустив голову, медленно покатил по тротуару; проехал в двух шагах от меня и даже не заметил...

В тот же вечер мы играли в футбол, и дядя Коля, как всегда, был весел, в отличном настрое, и я подумал — там, на улице, мне просто что-то показалось.

Дядя Коля исчез из нашего двора совершенно неожиданно... По одним маловероятным, несерьезным слухам (из области «обс») его видели в других районах города, то тут, то там; будто бы он поменял местожительство. По другим, непроверенным, смутным слухам (появилась и такая разновидность), он разнимал дерущихся инвалидов и его вместе со всеми увели в милицию, а потом посадили за хулиганство. По третьим, опасным слухам, его увезли в дом инвалидов; будто бы вышел указ: «отловить и изолировать инвалидов, поскольку они не вписываются в общество, строящее светлое будущее». Этот последний слух выглядел наиболее правдоподобным.

Без дяди Коли наш двор опустел и игры потеряли всякий смысл. Мы, конечно, продолжали играть и в волейбол и в футбол, но уже без прежней страсти, без вдохновения и азарта — всего того, что исходило от нашего «командира», и захлестывало игроков и зрителей. Игры потеряли свой накал — все уже было не то.

Я испытывал особую тоску. Бывало — безоблачный солнечный день, а мне кажется — небо пасмурно; вокруг прохлада, свободная циркуляция воздуха, а я задыхаюсь от духоты.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАЛОЙ ДУШИ

Подмечено, что в крайностях нет полноценной жизни, что только между ними время струится как ему и положено — не слишком быстро, не слишком медленно, что только это усредненное пространство насыщено многоцветьем, а не одними черно-белыми красками, в нем уравновешиваются добро и зло, радостные и горестные события.

Жена портного тетка Эльза имела мятежный, напористый дух, жила беспокойно, суетливо, во все дела совала свой нос и некогда ей было осмотреться, задуматься, взглянуть на себя со стороны, потому и наделала массу глупостей в жизни.

Ее муж, наоборот, был наделен тихим, приглашенным духом. Инфантильный от природы, он ничем не интересовался, кроме своей работы и рыбной ловли, и вел, по понятиям жены «страшно ограниченный образ жизни» (у нее было сорок претензий к мужу). Тем не менее, в том приморском городке он слыл отличным мастером, весьма уважаемым, даже влиятельным человеком — известное дело, портные нужны всем и потому имеют обширные связи. Что касается его увлечения рыбной ловлей, то здесь он, по всеобщему признанию, достиг исключительных успехов, его так и звали: «гений рыбалки».

У портного было трое детей и, поскольку в доме царил дух, детям постоянно приходилось лавировать между ними. Детский, еще еле различимый, неокрепший дух, метался от отца к матери, не в силах решить, к кому прикнуться. Мать, вроде, считалась главой семьи; дети побаивались ее и кое в чем ей подражали. С другой стороны, в отце привлекали спокойствие, мастерство в работе и, конечно, вылазки к морю.

Двум разным духам в семье ужиться крайне трудно. Довольно часто мятежный дух выходил из себя: его раздражали невозмутимость и беспечность тихого духа, и тогда в семье случались ссоры угрожающих размеров.

— Что волноваться, о чем беспокоиться, когда зашоренный взгляд на жизнь?! — возмущенно восклицала тетка Эльза, склонная к замысловатым, вычурным фразам.

Недогадливым выражала свою мысль яснее:

— Мой муж отгородился ширмой от нужд и забот семьи, и вообще от всего на свете.

Полным тугодумам объясняла предельно конкретно:

— Ему абсолютно на все наплевать!..

Ссоры в семье, как правило, не переходили границ словесной перепалки, но после них супруги несколько дней не разговаривали, только писали друг другу записки: «Купи хлеб и овощи». «Пошел на рыбалку».

С портным и его женой во дворе соседствовала чета бухгалтеров. В их семье царил ровный дух; и бухгалтер и бухгалтерша имели мягкие характеры, одинаковые взгляды на жизнь, одни и те же надежды и мечты, и даже внешне были чем-то похожи: оба маленькие, изящные, улыбочивые. Конечно и у них случались размолвки, но в легкой форме, в ничтожных размерах, да и они происходили с некой вялой нежностью, а в общем, их жизнь текла размеренно, без потрясений.

Бухгалтер считался одним из самых добросовестных людей в городке, человеком предельно собранным, педантичным на работе, но несколько «не от мира сего» в житейском плане: чрезмерно беспомощным в быту (чтобы приготовить завтрак, ему требовалась целая вечность), наивным и доверчивым к окружающим. В противовес ему

— бухгалтерша прекрасно разбиралась в людях и не раз предупреждала мужа о недостатках в тех, с кем они общались. Несмотря на мягкость и улыбочивость, при первой же угрозе семье, она, словно тигрица, готова была защищать свой дом и детей. И честь мужа. Стоило кому-то нелестно отозваться о нем, она тут же разносила обидчика в пух и прах.

Все в этой семье шло хорошо, если не считать, что бухгалтерские дети, наперекор природе, росли взбалмошными, драчливыми и «презренными лгунами» — по выражению тетки Эльзы. Из-за стычек между бухгалтерскими детьми и детьми портного, иногда и взрослые дулись друг на друга и перекидывались словами с несколько большим жаром, чем того требовало элементарное приличие. Но это происходило крайне редко, в основном семьи жили дружно, а по праздникам всегда устраивали общее застолье — что было обычаем для соседей той местности.

И жил в том дворе бывший фронтовик Игнат, хромоногий, со скрюченной, «полурабочей», как он говорил, левой рукой. Игнат работал сторожем в продовольственном магазине, был горьким пьяницей, о чем бы ни рассказывал — в каждой истории присутствовала выпивка, и в основном жил за счет того, что собирал и сдавал бутылки, «жил на хрустале» — по меткому замечанию тетки Эльзы и по ее же определению «являлся носителем никчемного, падшего духа». Несмотря на пристрастие к горячительным напиткам, Игнат пользовался некоторым уважением соседей за добродушный характер и любовь к детям. Бухгалтеры даже считали, что он не лишен благородства, поскольку время от времени ездил примирять свою бывшую супругу с новым мужем.

А однажды Игнат всех поразил, удочерив восьмилетнюю детдомовскую девчушку.

— Я всегда мечтал иметь дочку, — объявил он соседям и резко бросил пить.

С этого момента события во дворе развивались с неимоверной скоростью. Первое время соседи умилялись, глядя как Игнат трогательно заботится о девчушке: готовит завтрак, провожает в школу. Она в ответ с огромным энтузиазмом убиралась в доме, ходила в магазин, и все время пела незатейливые детские песни.

— Главное в ребенке грация души, — говорила тетка Эльза и награждала девчушку весомыми эпитетами: — Она чувствительная, впечатлительная, музыкальная — точь-в-точь мои дети, — и добавляла нечто причудливое: — А ее песенки — прямо колыбельная для усталой души.

Но через два года, когда девчушка подросла, соседи заметили некоторые странности в поведении Игната и его дочери. Гуляя по набережной, они непременно держались за руки и посматривали друг на друга далеко не породственному, а то и без наигранного жизнелюбия устраивали непонятные игры: кто быстрее разденется и вбежит в море; на мелководье они вытворяли всякие акробатические этюды — только что не целовались. Направляясь в кинотеатр, они шли без стеснения в обнимку, в зале шептались, хихикали, а после сеанса Игнат покупал девчушке мороженое и преподносил его без всякого дурачества, жестом пылкого юноши, а пигалица в ответ чуть ли не делала реверанс и пела уже далеко не незатейливые песенки, а песни с романтическим уклоном.

Эти удручающие, невыносимые наблюдения приводили соседей (в основном соседок) в невероятное возбуждение.

Еще бы! Такие сцены противоречили общепринятым нормам поведения, расшатывали устои городка, и с точки зрения пристойности, и со всех других точек зрения, выглядели отвратительно.

— Фу, как вульгарно! Какое бесстыдство! — горячилась бухгалтерша, бросая на Игната и девчущку ревнивый взгляд.

— Между ними нет пафоса дистанции! — полыхала тетка Эльза, как всегда, употребляя витиеватые обороты.

Но что сомнительные прогулки, купанья, фильмы и мороженое в сравнении с тем, что происходило по вечерам, на крыльце дома Игната! Они выносили патефон и, сидя на ступенях и слушая пластинки, обнимали и гладили друг друга! При этом Игнат прямо-таки млел от счастья, а глаза девчущки мерцали совершенно взрослым блеском!

Самое ужасное начиналось дальше: их легкие невинные ласки плавно переходили в другие ласки, более серьезные, тонченные, с явной сексуальной окраской. На лице Игната появлялось выражение осоловелого торжества, а мерцанье глаз девчущки перерастало в сияние! Порочное сияние!

Глядя на эту парочку, бухгалтерша раздраженно пфыкала:

— Дикость какая-то! И все напоказ!..

А тетка Эльза просто бурлила от негодования, ее возмущение достигало крайних пределов:

— Я всегда чувствовала — у Игната никчемный, падший дух, с налетом низменных, подлых поползновений, — дальше кровь в жилах тетки Эльзы начинала носиться словно ток по проводам: — У него нездоровый бзик! Все ущербные мужчины помешаны на женщинах, но низменные поползновения к ребенку!

Мужская половина двора реагировала на события более сдержанно. И портной, и бухгалтер смотрели на музыкальные посиделки с довольно рассеянным вниманием и осуждали Игната про себя, объясняя его поведение частичной случайностью, хотя, кто знает, может втайне ему и завидовали. Во всяком случае тетке Эльзе приходили в голову такие отчаянные мысли — иначе почему, когда она распекала Игната, ее муж отмалчивался, увиливал от ответов?! Впрочем, она быстро успокаивалась, вспомнив, что он вообще не отличался разговорчивостью, и это у нее тут же вызывало горячие мысли обратного рода.

— Тюфяк, а не мужчина, — насмешливо хмыкала она. — Его абсолютно ничего не интересует, кроме лоскутков и рыбок. Какие там женщины! Он и на меня-то смотрит, как на дерево.

Тетка Эльза представляла себя в образе цветущего дерева, какой-нибудь магнолии, и слезы наворачивались на ее глаза. В эти минуты она совершенно забывала, что имеет от мужа троих детей, и что могла бы их иметь гораздо больше, но сама не захотела. Такой она была противоречивой, агрессивной и сентиментальной одновременно.

А жизнь во дворе текла своим чередом. Когда девчужке исполнилось пятнадцать лет, Игнат устроил ее в медицинский техникум и там она нешуточно увлеклась одним сокурсником и ее романтические песни приобрели грустноватую окраску.

После этого знаменательного события, соседи (в основном соседки) наблюдали непонятное шествие: девчужка — уже почти сформировавшаяся девушка цветущего вида, неизменно шла между Игнатом и поклонником, обоих держала под руки, но смотрела на них по-разному: на Игната,

по-прежнему открыто, восторженно, на парня — робко и смущенно. Эта троица гуляла по набережной, ходила в кино, по вечерам слушала пластинки, правда, теперь Игнат не сидел на крыльце, а прохаживался взад-вперед по двору и с наступлением темноты, прощался и исчезал в доме, а молодые люди засиживались до полуночи, но сидели вполне целомудренно, даже на некотором вполне пристойном расстоянии.

В эти дни соседи, вернее соседки, недоуменно смотрели во двор и испытывали растерянность и замешательство такой силы, что, казалось, на них внезапно обрушилась огромная морская волна.

После окончания техникума, парень предпринял решительный шаг — объявил Игнату, что «давно любит» его дочь и с размаху попросил ее руки. Игнат расчувствовался до всхлипов, благословил молодых людей на брак и в качестве свадебного подарка купил им пианино, «чтобы обучали детей музыке». (С появлением инструмента волнение соседок заметно улеглось).

На свадьбе, которую Игнат устроил во дворе, естественно присутствовали соседи. Портной и бухгалтер, изрядно нагрузившись вином, похлопывали Игната по плечу, клялись, что всегда относились к нему с глубочайшим уважением, желали десятков внуков и долгой жизни — под сотню лет.

Тетка Эльза и бухгалтерша поздравляли молодоженов, обещали всяческую помощь в воспитании детей, ссылались на собственный немалый опыт, а об Игнате наедине судачили: и такой-то он и сякой, но в конце концов пришли к единому мнению, что он «в общем-то неплохой человек».

— Налицо его перерождение... или мы заблуждались, — констатировала бухгалтерша и, то ли облегченно, то ли разочарованно вздохнула, словно зритель после интригующего фильма, в котором многое так и осталось загадкой.

А языкастая тетка Эльза произнесла одно из своих самых замысловатых изречений:

— Похоже, высокий дух победил низменного духа. Так бывает, правда, чаще бывает наоборот.

## **ЗВЕРИНЕЦ В УГЛОВОЙ КОМНАТЕ**

Эта немолодая женщина жила обособленно, замкнуто в угловой комнате на втором этаже; ее балкон отличался от других обилием цветов. Сквозь балконную решетку я часто видел склоненную голову с седыми буклями — женщина что-то шила. С соседями по квартире и жильцами дома она только учтиво здоровалась, но бесед не вела и не принимала участия в общественных мероприятиях, и тем более не примыкала ни к каким группировкам — тот дом четко делился на сплетников (в основном из числа старожилов), собачников, кошатников и доминошников-алкашей (из числа лимитчиков). Ее можно было бы отнести к прослойке интеллигентов, но и с теми она держалась особняком. Она всегда была опрятно одета: летом — в темно-лиловом платье с розовой камеей у ворота, зимой — в потертом полушубке с муфтой, в шляпке с вуалью и ботах «прощай молодость». Семь лет мы жили в одном подъезде и я ничего о ней не знал; слышал, что она бывшая костюмерша, работала в театре — и все. Как-то мы столкнулись в подъезде и, пропуская ее, я придержал дверь, но она посторонилась и с полуулыбкой сказала:

— Нет, нет, пожалуйста, вы проходите. Вы — молодой человек, у вас масса дел, а я никуда не спешу. К тому же, у вас ценная ноша (в то время я работал экскурсоводом в историческом музее и не расставался со связкой книг).

Мне понравилось, что она сказала, особенно — что я молодой (мне уже перевалило за сорок).

— Не такая уж и ценная, — я кивнул на книги. — Всего лишь справочники по истории.

— Если вас интересует историческая литература... У меня осталась от отца неплохая полубиблиотека... Заходите, может быть это будет интересно для вас.

В один из вечеров я воспользовался приглашением и отправился на второй этаж.

В ее комнате стоял зеленоватый полумрак — от настольной лампы с плоским зеленым плафоном струился слабый свет; плафон напоминал весеннюю луну. Я разглядел кожаный диван, над спинкой которого находилось два шкафчика, а между ними на полке фарфоровые статуэтки. По одну сторону дивана стояла швейная машинка «Зингер», по другую — черный шкаф, в котором виднелись корешки книг. Хозяйка встретила меня приветливо, назвалась Эвелиной Викторовной и показала на диван.

— Пожалуйста, присаживайтесь, — и, обращаясь к большой игрушечной собаке, которая занимала половину дивана, полушутливо, полусерьезно сказала: — Женя подвинься!

Себе Эвелина Викторовна принесла из кухни табуретку и, накинув полушубок, присела к столу.

— В этой угловой комнате все время дует, то из окна, то из-под двери. И у меня нет ни одного стула, — как бы извиняясь, пояснила она. — Мы с мамой их сожгли во время войны в «буржуйке». Ведь был холод и голод... Представляете, а здесь рядом находилась кондитерская фабрика и оттуда пахло шоколадом. Мы грызли сухари и они казались шоколадом... Но книги я сохранила в память об отце. Он был профессором университета...

Сидя на диване, я слушал Эвелину Викторовну, рассматривал книжный шкаф, но вдруг почувствовал — из противоположного угла кто-то за мной наблюдает, множество чьих-то желто-зеленых глаз.

— Посмотрите книги, — сказала Эвелина Викторовна. — Если вас что-нибудь заинтересует, не стесняйтесь, берите, читайте.

Она включила верхний свет; бронзовая люстра осветила комнату и я увидел в углу необычных зверей — огромные самодельные игрушки; на полу, в довольно раскованных позах, замерли тигр и лошадь — похоже, сделанные из старого одеяла, обезьяна и коза — из какого-то тулупа, и змея — из серебристой парчи; у животных вместо глаз блестели пуговицы, но они смотрели на меня вполне осмысленно, во всяком случае, так мне показалось.

Я отобрал несколько книг, вновь взглянул на зверинец и, несколько бестактно, спросил:

— Эвелина Викторовна, чьи это игрушки?

— Мои, — как-то удивительно просто ответила она и, спохватившись, встала с табуретки. — Я забыла вас представить... Ну, Женю, Евгения Павловича, вы уже знаете... А это Федор Иванович, — она подошла к лошади и погладила ее гриву. — Тигра зовут Игорь, он еще юноша, обезьянку — Вероника, козу — Зинаида, а змея — это я. По восточно-китайскому гороскопу.

— Занятно, — произнес я.

— А вы кто по гороскопу? — спросила Эвелина Викторовна.

— Не знаю.

— В каком году вы родились?

Я назвал.

— Так вы крыса! Вы родились под знаком шарма и агрессивности. У вас опасное очарование. Крыса эгоистична и честолюбива, в гневе топчет всех, кто на ее пути.

— Насчет этого совершенно справедливо, — усмехнулся я. — Затоптал кучу людей, но, видимо, зря — ничего особенного не добился.

— Добьетесь! Крыса способная, — Эвелина Викторовна протянула мне руку. — Заходите еще, мы будем рады, — она обвела взглядом зверей и на ее лице вновь появилась полуулыбка.

— До свидания! Спасибо за книги! — я пожал ее руку и, исходя из вежливости, подыгрывая хозяйке зверинца, еще пожал лапу тигру.

«Странная женщина — подумал я, возвращаясь в свою комнату. — Полушутки, полуулыбка. И полумрак, полушубок, полубиблиотека — какая-то полужизнь. И эти полузвери! Какое-то искаженное видение мира. Наверно, просто старомодные штучки», — заключил я и больше об этом не думал.

Через несколько дней, прочитав книги, снова пришел в угловую комнату.

— Вы ничего не замечаете? — загадочно спросила Эвелина Викторовна, пока я копался в шкафу, отбирая новую партию книг.

Я посмотрел в звериный угол и заметил новую игрушку — крысу, мастерски сделанную из сукна, крысу внушительных размеров. Она стояла впереди всех зверей, как бы возглавляя стаю.

— Это вы. Крыс Алексей, — сказала хозяйка зверинца. — Вернее, ваш двойник, как моя змея Эвелина...

Крыс был явно без всякого шарма, о котором упоминала его создательница, но в вытянутой морде с торчащими усами недвусмысленно проглядывала агрессивность; наверняка, для достижения своих целей, этот тип мог затоптать кого

угодно. Я условно обозвал его «агрессор» и догадался — мне в комнате отводилась центральная роль, вокруг которой станут крутиться остальные звери. Это ко многому обязывало, и прежде всего — включиться в игру со всей серьезностью. Желая угодить Эвелине Викторовне, я сказал:

— Привет, двойник! Надеюсь, мы подружимся. И веди себя прилично, когда я уйду.

— Крыса великодушна к тем, кого любит, — откликнулась Эвелина Викторовна. — А змею все почитают за мудрость, — этим добавлением хозяйка зверинца дала понять, что все-таки центральная роль принадлежит ей. — Представляете, когда у меня плохое настроение, она тоже грустит, а если мне весело, радуется больше меня...

— А как это проявляется? — вылетел у меня дурацкий вопрос.

— Господи! — всплеснула руками Эвелина Викторовна. — У нее меняется выражение на мордашке!

Я внимательно посмотрел на Эвелину Викторовну, но она не заметила моего взгляда и продолжила:

— Вот сейчас лежит, свернувшись клубком, а головку приподняла, прислушивается к нашей беседе. А когда грустит, головку прячет... А если радуется, подползает, извивается кольцами... Ведь змея крайне чувствительная, она больше доверяет впечатлениям, предчувствиям, нежели фактам... И, конечно, змея изящная, одевается изысканно... — Эвелина Викторовна мельком взглянула в зеркало, поправила букли, как бы убеждаясь в своем изяществе, и добавила: — Но змея собственница и ревнива... Если влюбится, обовьет и не оставит свободы, — после этих безрадостных слов, Эвелина Викторовна заметно взгрустнула.

Я посмотрел на змею и мне показалось, она немного опустила голову, ее взгляд потух. Чтобы взбодрить обеих, я сменил тему:

— А почему пес Женя благодушествует отдельно?

— Нет, он дружит со всеми, но у него чувство вины перед Эвелиной... Я могу вам приоткрыть тайну, при условии, что вы никому об этом не расскажете. Я верю в вашу порядочность.

Я дал слово хранить тайну и услышал заурядную историю любви.

— ...Видите ли, Женя, Евгений Павлович, муж Эвелины перед Богом. Он морской офицер. У него величие духа, как у всех собак. И много благородных черт: он преданный, верный, все делает для других... Когда-то Эвелина полюбила его. И он ее. Они были молодые, это было давно. Смотрите, Женя седой и у Эвелины, взгляните, кожа уже не та...

Пес безучастно смотрел в окно, в океанские просторы; смуглый, седомордый — вылитый морской офицер, только что без погон.

— ...Женя был женат, вот в чем несчастье. А для него чувство долга превыше всего... Самое нелепое — его жена дракон. Они совершенно не подходят по знакам, но вот так получилось... И до сих пор живут вместе... Сейчас ее временно нет...

Я подумал, Эвелина Викторовна скажет: «Я ее выставила», но она благоразумно закончила любовную историю:

— Она поехала навестить родителей...

— У них есть дети? — спросил я, чтобы просто поддержать разговор.

— Да, двое. У них уже свои семьи...

— Кто же ему теперь мешает, — начал я, но тут же осекся.

— Я же вам сказала, для Евгения Павловича чувство долга превыше всего... — Эвелина Викторовна притихла, но вдруг укоризненно посмотрела на собаку. — Хотя, может быть вы и правы...

Полминуты спустя, она присела к своему «мужу от Бога» и прижалась к нему.

— Все-таки он хороший...

Пес стеклянными глазами продолжал невозмутимо смотреть в океанские просторы; по-моему, ему было абсолютно начхать на то, что говорила любящая женщина, и мне захотелось дать ему по морде; но игра зашла слишком далеко и надо было что-то предпринимать — Эвелина Викторовна уже гладила собаку, украдкой смахивала слезы и вторяла:

— Очень хороший...

Какая-то неподдельная чистота была в этой неразделенной любви, мне стало по-настоящему жаль несчастную женщину. «Возможно, моряк не существует на самом деле, он — плод болезненной фантазии, — подумалось, — но не стоит разрушать этих иллюзий, ведь они, наверняка, ее единственная радость».

— По нему видно, что он любит вас и страдает, — сказал я, имея в виду Женю.

— Да, я знаю, — поспешно согласилась Эвелина Викторовна, отстраняясь от собаки. — Потому и не злюсь на него... Бог с ним! Видимо, не судьба... — она глубоко вздохнула, поднялась и полуулыбка снова осветила ее лицо. — Хотите чаю? Давайте пить чай!

— Эвелина Викторовна, у вас есть родственники? — осторожно спросил я за чаем.

— Нет... Моего отца арестовали в тридцать седьмом году и отправили на Колыму. Он был самым талантливым профессором в университете... Нас с мамой тоже хотели выслать, но потом оставили в покое... Приходили ночью, делали обыски, допрашивали... Я все отчетливо помню, мне уже было девять лет... Ведь эта квартира вся принадлежала нам. Это потом, после смерти мамы, вселили жильцов... Мама умерла в шестьдесят первом году. И, представляете, всю жизнь посылала отцу посылки в лагерь, а его уже не было в живых. Он умер через год в ссылке, и вскоре я узнала об этом, но маме не сказала...

Теперь мне стала понятна причина ее болезненного возбуждения, да и как можно столько пережить и остаться в здравом уме? Я подумал: «Надо бы помочь одинокой женщине», но как я мог помочь, если сам еле сводил концы с концами и снимал в том доме комнату, а все сильных знакомых у меня не было; оставалось одно «книжное» общение и участие в кукольной игре. Чтоб отвлечь Эвелину Викторовну от мрачных воспоминаний, я сказал:

— Самый симпатичный из ваших зверей — тигр, этаким гигант с нежной душой. Он мне понравился с первого взгляда. Даже, по-моему, мы оба понравились друг другу. Он мне — за открытый честный взгляд, а за что я ему — не знаю.

Тигр с непроницаемой мордой уставился на меня, как бы вопрошая: «О чем это ты?».

— Его зовут Игорь, — напомнила Эвелина Викторовна. — Он, действительно, честный и смелый... Немного вспылчивый, но быстро отходит...

Я встал, поблагодарил Эвелину Викторовну за чай и книги и, попрощавшись, крепко, как и в первый раз, пожал лапу тигру.

На следующий день я встретил Эвелину Викторовну во дворе, она была необычно возбуждена.

— Заходите вечером, — заговорщически проговорила она. — У нас свадьба. Федор Иванович сделал предложение Зинаиде и она с радостью объявила, что выйдет за него замуж, — полуулыбка на лице Эвелины Викторовны уступила место полноценной улыбке. — Федор Иванович просил меня пригласить вас.

Я собирался дома поработать, но и обижать несчастную женщину не хотелось. К вечеру, купив торт и сорвав в сквере какой-то цветок для «невесты», я поплелся «на свадьбу». По пути пытался вспомнить, кто Федор Иванович, кто Зинаида? Так и не вспомнив, решил разобраться на месте.

Звери восседали за столом на диване, в центре — лошадь и коза, оба нарядные — хоть куда! На шее лошади сверкал медальон, на козе красовалась марля — что-то вроде фаты. Перед каждым животным стояла тарелка с вилкой и рюмка. Эвелина Викторовна в переднике семенила из кухни в комнату.

— Поздравляю! — сказал я, обращаясь к жениху с невестой, и протянул козе цветок, а для большего впечатления, хотел поочередно поцеловать молодоженов, но Федор Иванович встретил мою попытку свысока, а Зинка и вовсе оказалась невоспитанной особой — даже не повернулась в мою сторону, впрочем, быть может, мне помешал стол — до молодоженов было сложно дотянуться.

Но для Эвелины Викторовны мой порыв не остался незамеченным, она благодарно поклонилась мне и сказала:

— Присаживайтесь на край дивана, рядом с Игорем. Он уже заждался вас, все спрашивал: «Когда же вы, наконец, придете?»

Тигр сидел, уткнув морду в тарелку и вообще не заметил моего появления; чтобы не ставить Эвелину Викторовну в неловкое положение, я приподнял его морду и чмокнул в огромный нос.

— Здравствуй, Игорек! Ты уже поздравил молодоженов? Как бы кивнув, тигр снова опрокинул башку в тарелку.

Эвелина Викторовна принесла из кухни кастрюлю с варениками, разложила их по тарелкам, разрежала мой торт и всем положила по куску, затем достала из шкафа бутылку ликера и протянула мне:

— Откройте, пожалуйста, можно начинать торжество.

Я вынул пробку из бутылки и, в некотором замешательстве, взглянул на Эвелину Викторовну — наливать зверям или нет? Она поняла мой вопросительный взгляд.

— Совсем чуть-чуть. Чисто символически.

Я разлил ликер и Эвелина Викторовна произнесла замечательную речь. Умиленно глядя на молодоженов, она просто сказала:

— Будьте счастливы, Федор Иванович и Зиночка!

— Отличная парочка, — возвестил я, выпив отличный, в общем-то, ликер.

— Вы знаете, они очень подходят по знакам, — подтвердила мои слова Эвелина Викторовна. — Конечно, Зинаида немного капризная, но в то же время послушная, нежная... Любит музыку. Мы с ней часто слушаем Моцарта. Она очень любит Моцарта.

— Почему именно Моцарта? — брякнул я, бесцеремонно наливая себе ликер.

— Ну, как же! — Эвелина Викторовна поразилась моему невежеству. — Это же религиозная музыка, а Зинаида очень

набожна. Вон ее икона, — она показала на звериный угол — там маячил небольшой образок.

На минуту я увидел себя и Эвелину Викторовну со стороны и подумал: «Взрослые дети играют в куклы. Впрочем, а почему и не поиграть?». Дальше я ударился в вольные рассуждения и после третьей рюмки мне, и вправду, показалось, что звери развеселились всюю. Федор Иванович то и дело принимал позы: разгибал спину, выпячивал нижнюю губу — воображал себя Наполеоном, не иначе. Его невеста раскачивала головой; только теперь я заметил, что у нее одно ухо длиннее другого и она сильно косоглазит, впрочем, может это уже я окосел. Обезьяна, которая долгое время завистливо смотрела на молодоженов, вдруг завертела хвостом и опрокинулась на спинку дивана. «Напилась», — подумал я, но Эвелина Викторовна пояснила:

— Вероника взбалмошная. Это она так одурачивает нас... Она и раньше разыгрывала обмороки... Дело в том, что у нее нет кавалеров...

Я снова усадил Вику за стол, давая понять, что она ведет себя не совсем пристойно, и перевел взгляд на мужскую половину компании. Мой двойник пребывал в довольно вызывающей позе — прямо с лапами залез на стол. Пес, как всегда, смотрел в даль, в бескрайние океанские просторы; столь созерцательное настроение наводило на мысль, что свадьбы для него не в новинку. Мой непосредственный соотрапезник тигр занимался гастрономическим делом — изучал еду в тарелке и делал это открыто и честно, словно вдрызг пьяный гость. Чтобы он очухался, я толкнул его локтем в бок, но реакции не последовало — он даже бровью не повел. Выпив ликер, я незаметно опорожнил и рюмку тигра, подлил себе еще и крикнул:

— Горько!

После чего обошел вокруг стола и чокнулся со всеми присутствующими; когда прикоснулся к рюмке обезьяны, она отвесила мне поцелуй, как вознаграждение за находчивость. В этот момент у меня в голове мелькнуло: «А не жениться ли на какой-нибудь обезьянке, разумеется, не обморочной?» Я тут же прогнал эту глупую мысль, но на всякий случай поинтересовался:

— Эвелина Викторовна, а как складываются отношения у крыса с обезьяной?

— Прекрасно! Лучше не бывает! — но сразу же она насторожилась и надолго задержала на мне взгляд. — А почему вы об этом спрашиваете?

— Да так, — уклончиво ответил я.

Свадьба удалась, Эвелина Викторовна была счастлива и, когда я уходил, особенно тепло попрощалась со мной.

Вернувшись домой, я с изумлением обнаружил в двери приглашение на настоящую свадьбу — женился мой друг, закоренелый холостяк. Я от души рассмеялся, истолковав это событие случайным совпадением. Но каково было мое удивление, когда я увидел невесту друга — у нее были на редкость большие уши и раскосые глаза. Это уже было по меньшей мере странно. Сгорая от любопытства, я спросил у нее:

— Кто вы по гороскопу?

— Коза!

Я бросился к другу.

— А ты? Ты кто по гороскопу?

— Не помню. Кажется, лошадь, — бросил он.

Это уже была мистика. Весь вечер я не мог отделаться от мысли: «А что, если кукольное государство Эвелины Викторовны — некий отраженный мир людей? Что, если в тря-

пичные чучела и впрямь переселяются наши души?». Мою догадку подтвердили дальнейшие события.

Через неделю рано утром в квартире раздался звонок. Я открыл дверь и увидел на пороге Эвелину Викторовну.

— Что с вами случилось? — встревожено спросила она.

— Что? — не понял я.

— Как вы себе чувствуете?

— Да, вроде, неплохо.

— Но крыс заболел. Еще вчера расхандрился, отказался от еды, а сегодня слег... Я за вас боюсь... Берегите себя...

Я успокоил, как мог, Эвелину Викторовну, но, прежде, чем уйти, она настойчиво упрашивала меня принять лекарства. Закрыв дверь, я вслух пробормотал: «Что за беспочвенные фантазии?! Задурила мне голову! Надо заканчивать эту игру — так недолго и спятить».

Весь день я нервничал и злился, а к концу дня почувствовал себя неважно: поднялась температура, стал трясти озноб. «Только этого еще не хватало! — буркнул я и бросил вызов судьбе: — Ну, что за болезнь мне предназначена?».

Болезнь оказалась нешуточной — я умудрился где-то схватить воспаление легких и провалялся в постели около месяца. Эвелина Викторовна навещала меня: приносила горчичники, куриный бульон. Однажды радостно объявила:

— Дело пошло на поправку. У крысы появился аппетит, и какой! Его невозможно оторвать от тарелки!

После болезни я отправился к Эвелине Викторовне, чтобы выразить признательность за сочувствие и помощь. Я появился с тортом (над подарками я никогда не ломал голову — на все торжества неизменно тащил торт и он оказывался как нельзя кстати). Увидев зверей, я внезапно почувствовал, что соскучился по ним; каким-то странным обра-

зом Эвелине Викторовне удалось вселить в меня смуту — я уже и сам толком не знал, что у них внутри: опилки и вата или человеческие души?

— Вы даже не представляете, как мы все переживали за вас, — трогательно сказала Эвелина Викторовна. — Всем семейством лечили крыса (воздух в комнате, на самом деле, был пропитан лекарствами).

Я посмотрел на своего двойника; он, как всегда, стоял впереди зверей, худой, с ввалившимися боками, но взгляд у него был ясный, четкий, и агрессивных намерений — хоть отбавляй! Я даже немного отошел в сторону.

Мы пили чай, ели торт и вели пустяковые разговоры, и все было бы хорошо, если бы я не заметил, что лошадь с козой друг на друга дуются. Я не стал выспрашивать у Эвелины Викторовны, как живут супруги, не хотелось ее расстраивать — вдруг мои наблюдения оказались верными? Но в тот же день позвонил женатому другу, бывшему законенелому холостяку, хотел убедиться — подобные домыслы лишены всяких оснований.

— Как жизнь молодая? — бодро спросил я в трубку.

Но в ответ услышал далеко не бодрый голос:

— Да, так... Ссоримся, выясняем отношения...

— Семейная жизнь — сложная штука, — изрек я и дал другу бесценный, на мой взгляд, совет: — Главное, уступить друг другу.

Это был чисто теоретический совет — друг прекрасно знал, что я никогда не был женат и, наверняка, пропустил мои слова мимо ушей. А вот я за его слова уцепился и сделал очевидное, бесспорное заключение — куклы живые существа. Последнюю точку в этом вопросе поставил случай, произошедший в середине лета.

Эвелина Викторовна зашла ко мне и, с горечью в голосе, сообщила:

— У нас неприятность. Зинаида хочет развестись с Федором Ивановичем, говорит, разлюбила его...

— Что за легкомыслие?! — возмутился я. — О чем она раньше думала?

— Я не хотела вас огорчать, но сразу же после свадьбы... В общем, у Зинаиды, как у всех коз, несносный характер, она вечно чем-то недовольна...

— Кажется, вы говорили, она послушная, — неуверенно возразил я.

— Да, когда ей это выгодно. Она умеет приспосабливаться к обстоятельствам... В общем, теперь она живет отдельно. Всех нас огорчила...

— Но вы говорили — они подходят по знакам, — уже твердо напомнил я.

— Да, подходят. Но, видимо, и в гороскопе есть изъяны... Ведь ничего нет совершенного на свете...

— Может, еще помирятся, — протянул я; в голове уже прыгала невеселая мысль: «Плохое предзнаменование».

Кое-как успокоив Эвелину Викторовну (за счет благодарной козы и остального благодарного зверинца, который никогда так гнусно не поступит), я проводил ее на второй этаж, а, вернувшись, набрал телефон друга, но никто не ответил. И еще два дня телефон молчал. А на третий день друг позвонил сам.

— Надо бы встретиться, посидеть за бутылочкой, есть о чем поговорить... От меня жена ушла.

К концу лета всех работников музея отправили в отпуск (начался ремонт прогнившей сантехники) и я решил отдох-

нуть в деревне. Перед отъездом зашел к Эвелине Викторовне, предварительно купив торт.

Она сидела на диване, закрыв лицо руками. На мой вопрос «что случилось?» только покачала головой и беззвучно заплакала. Я осмотрел зверинец. Федор Иванович, Игорь, Вероника и мой двойник сидели, съежившись, в углу; Зинаида одиноко выглядывала из-под швейной машинки; Жени нигде не было.

— Что-то случилось с Женей? — спросил я.

Эвелина Викторовна молча кивнула, потом, всхлипывая, нервно проговорила:

— Случилось несчастье! Вчера пропал Евгений Павлович. Исчез и все... Я заходила к соседям, перерыла всю квартиру, не знаю, что и подумать... Вся извелась, ночь не спала, принимала таблетки от сердца... Я уверена, он жив, но что-то произошло. Что-то страшное...

Она была в отчаянии, и никакие мои слова не смогли ее успокоить.

В деревне отдыхалось неплохо, но по вечерам я вспоминал Эвелину Викторовну и тревожился за нее. И невольно вспоминал зверинец; почему-то, глядя на животных издалека, отстраненным взглядом, я понял — они уже стали мне близкими друзьями.

Я вернулся из деревни, когда уже шли осенние дожди, и прямо с дороги, сбросив в комнате рюкзак, пошел к Эвелине Викторовне. На звонок дверь открыла соседка.

— А Эвелина Викторовна умерла!

— Как?!

— Врачи сказали «сердце», а наемники приходили смотреть комнату из жэка, сказали — «отравилась». Кто их раз-

берет. Все изоврались. Я никому не верю. Могла и отравиться, ведь она была не в себе. Сумасшедшая.

— Дай бог, всем быть такими сумасшедшими, — процедил я и прошел в угловую комнату.

Комната была полупустой; стояли только стол и диван; ни шкафа, ни швейной машинки уже не было. И не было зверей.

— Кто ж все растащил? — обратился я к соседке.

Она пожала плечами.

— Нашлись охотники до чужого добра. Приходили какие-то, сказали знакомые.

— А где звери?

— Какие звери? Ее игрушки, что ли? Да, их выкинули на помойку. Небось, там и валяются.

Я побежал за дом к черному ходу, где находилась помойка.

Федор Иванович и мой двойник лежали в мусорном ящике, у черного хода в луже мальчишки пинали Игоря и Веронику, змея Эвелина валялась в стороне, мокрая, безжизненная, словно старый пожарный шланг. Отогнав ребят, я собрал зверей, принес домой, очистил от грязи, поставил сохнуть к батарее. Затем съездил на кладбище и рядом с могилой Эвелины Викторовны закопал змею.

## ТОТ САМЫЙ ЧУДАК

Учительница немецкого языка была прямо-таки небесным созданием. «Доброе утро!» — произносила она ангельским голосом, входя в класс и внося с собой запах свежести, просветленность, дух интеллигентности и нравственной чистоты. В строгом английском костюме, с изящными манерами и таинственно-печальной улыбкой, она казалась нам королевской бабочкой, не иначе.

— Не важно где и как мы живем, — говорила она во время урока. — Главное, что в нашей душе. Мы живем там, где наша душа.

Эти туманные сентенции еще больше возвышали ее в наших глазах. Было ясно, что ее-то душа витает в облаках, а не бродит по грешной земле, вместе с нашими безалаберными душами. Это становилось еще яснее, когда она читала немецких поэтов и на ее лице появлялось выражение мечтательного счастья.

— Всего наилучшего! — произносила она по окончании урока и с неизменной улыбкой добавляла: — Не забывайте о душе.

Она исчезала и класс мгновенно тускнел. Кстати, слово «душа» звучало небезопасно в то антирелигиозное время, и ученики ценили мужество учительницы, ведь суммарная направленность всех ее высказываний преследовала определенную цель — взывала к Богу. Впрочем, некоторые, и я в том числе, считали, что это и не мужество вовсе, а некое простодушие неопытного учителя, юной невинной женщины, и рано или поздно ей за это влетит.

Она учительствовала первый год, сразу после окончания института, и внешне выглядела как подросток, чуть старше нас, девятиклассников, но манерой держаться и своими

знаниями с первого же урока установила между нами дистанцию немалых размеров. Мы и восхищались ею и побаивались ее, как, собственно, большинство мужчин боится женщин, которые им особенно нравятся. Ко всему, такие, как я, осваивающие иностранный язык с превеликим трудом, ожидали урока немецкого с двойным страхом.

Но странное дело, к моим неспособностям «немка», как за глаза прозывалась учительница, относилась довольно снисходительно. Даже когда я в каждой фразе делал уйму ошибок, она спокойно поправляла меня и «натягивала» тройку. Я слыл крепким троечником и в этом смысле был спокоен за свой аттестат — иностранный язык при поступлении в институт во внимание не принимался, чем, кстати, и объясняется теперешняя беспомощность в языках большинства из моего поколения. Впрочем, при «железном занавесе» язык был и не нужен — иностранцев к нам не пускали, их радиостанции глушили, а непереведенные книги находились в спецхране библиотек, куда выдавались пропуски и всех посетителей брали на заметку.

«Немка» великодушно относилась ко всем нерадивым ученикам, кроме толстяка Салихова из параллельного класса — подростка, которого никто не воспринимал всерьез и с которым никто не дружил. Да и как можно было общаться с тугодумом, который вечно безучастно сидел за партой, все пропускал мимо ушей, при этом постукивал пальцами, покачивал ногой; его отсутствия в классе никто не замечал, как впрочем, и присутствия. А на перемене он то восторгался какой-нибудь ерундой, то впадал в ярость по малейшему пустяку. Он считался придурковатым простаком, которого легко перехитрить, правда, распознав хитрость, он мог нешуточно надуться и выкинуть какой-нибудь дикий номер.

Единственно, что у нас вызывало в Салихове зависть — это его усы; в отличие от нашего пушка на верхней губе, у него явственно проступала темная растительность... Так вот, этому Салихову от «немки» доставалось: раз в неделю она устраивала ему дополнительные занятия, после которых он весь следующий день сидел на уроках красный, потупившийся и на все вопросы отвечал невпопад.

Моим соседом по парте был Старик — Левка Старостин, невероятно способный парень, которому все давалось легко. Старик учился на круглые пятерки — тянул на медаль, но делал это без видимых усилий, даже как-то играючи, и что особенно важно — при этом оставался балагуром и весельчаком. Мы со Стариком были закадычными друзьями и заядлыми рыболовами, и на глазах всего класса радостно выражали свой союз.

Однажды на наше шестнадцатилетие, после получения паспортов, Старик сказал:

— Давай отметим это событие на рыбалке. И пышно — купим бутылку портвейна. Ведь теперь мы стали взрослыми.

До этого я несколько раз пробовал вино: случалось, по крупным праздникам родители наливали мне глоток легкого вина, но каждый раз это сопровождалось массой нравоучений о вреде алкоголя и всяких назиданий на будущее. И вдруг — целая бутылка портвейна, вдвоем на природе! Это была гениальная мысль и она могла прийти только в голову Старика.

Деньги мы взяли у родителей, как бы на кино и рыболовные принадлежности, бутылку спрятали в надежном месте, но накануне рыбалки Старик неожиданно омрачил мое радостное ожидание праздника.

— Ты не возражаешь, если к нам присоединится Ахмет?  
— спросил он.

— Какой еще Ахмет? — удивился я.

— Ну, Салихов. Тот самый чудака из «А», бедный мученик, которого «немка» оставляет на дополнительные занятия.

— Вот еще! Он все испортит, — я почувствовал острое раздражение.

— Да не испортит. Жалко его. Все его сторонятся, а по моему, он неплохой парень. Немного тронутый, но это чепуха... Вчера сообщил ему о наших с тобой планах, так он прямо взмолился: «Возьмите и меня. Я тоже получил паспорт, а отметить не с кем». Жалко его стало. «Ладно, — говорю, — возьмем, но только с бутылкой портвейна». Так что, давай возьмем его, и отметим как следует, как положено, на троих, — Старик засмеялся и обезоруживающе хлопнул меня по плечу.

Ахмет основательно подготовился к нашей вылазке на природу: не только не отстал от нас (в смысле подготовки), но даже превзошел: кроме портвейна взял банку консервов и десяток огурцов, и его рыболовные снасти выглядели вполне прилично. Мы встретились на станции и в ожидании пригородного он подробно рассказал, как покупал вино и как удрал из дома, забросив учебники и домашние задания. Он в самом деле оказался неплохим парнем. Слушая его, я даже обнаружил некоторое сходство с ним — в отношении к учебе.

В вагоне он оживился еще больше: поведал нам, что хотел купить и папиросы, но не знал, как мы к этому отнесемся.

— Зря не купил, — сказал я, уверенный, что выкурив первую папиросу, окончательно возмужаю.

Старик насмешливо хмыкнул и тем самым молчаливо поддержал меня.

Мы сошли с поезда в полдень. День был адски жаркий и когда подошли к речке, изрядно взмокли. Первым делом окунулись. Потом недалеко от деревни застолбили поляну, обрамленную редкими деревьями, насобирали сушняк для костра, соорудили шалаш, хотя дождя не предвиделось — соорудили просто так, чтобы занять время до вечернего клева. Мы заранее условились, что начнем торжество, когда стемнеет, у костра.

Рыбалка не клеилась — бутылки портвейна, как будоражащий фактор, не давали покоя, мы пребывали в слишком возбужденном состоянии и, конечно, распугали крупную рыбу. Старик и я поймали всего по паре ершей, но Ахмет опять удивил, выловив плотву больше ладони, на что Старик заметил:

— Ты всех перехитрил. Нарочно плохо учишься. Зачем тебе учиться, если ты уже законченный профессиональный рыболов.

— Просто повезло, — смутился Ахмет, невероятно довольный своим везеньем и вообще тем, что, наконец, приобрел друзей.

Близился вечер; отступал в темноту силуэт деревни, за речкой в неясной полутьме появились желтые огни станции. Мы разожгли костер и открыли бутылку портвейна.

— Поздравляю вас и себя! — сказал Старик. — Теперь мы официально взрослые, самостоятельные. Теперь перед нами открыты все двери. Можем голосовать и, кажется, даже жениться...

— Можем бросить школу и пойти работать на завод, — вставил Ахмет и я кивнул, в знак совпадения наших мыслей.

— Я давно хочу заработать деньги и отправиться в далекое путешествие, — продолжил Ахмет, когда мы выпили полные кружки; от полнейшей неопытности или, вернее, мальчишеской бравады, выпили без остановки, как газировку, не думая о последствиях.

— А я купил бы мотоцикл, — сказал я, чувствуя, что начинаю хмелеть; во всяком случае деревья вокруг поляны стали шататься.

— Главное, чтобы была мечта, — нетвердо сумничал Старик.

Нам бы передохнуть, развить тему своего необозримого будущего, а еще лучше — спеть про «пикирующий бомбардировщик», модную песню того времени — не зря подмечено, что поющий быстрее трезвеет — выходит алкоголь, но Ахмет сразу же достал свой портвейн и совершенно искренне признался заплетающимся языком:

— Давно хотел выпить... Надоели родители. То нельзя, это нельзя... Опекают, будто я маленький...

— Родители... всегда правы, — сбивчиво проговорил мудрый Старик. — Как ни крути, а школу... заканчивать надо... Так что поднатужьтесь... Осталось немного...

После второй бутылки мы уже разговаривали совсем бессвязно, а деревья вокруг поляны ходили ходуном, словно налетела буря, хотя стоял полный штиль. Известное дело, большинство мужчин, когда выпьют, говорят о женщинах, и мы не стали исключением.

Первым о девочках заикнулся Старик. Он рассказал, как одно время встречал из школы свою соседку:

— ...Я все думал: «Так много девчонок, а она единственная»... А она относилась ко мне, как к соседу... говорила про каких-то мальчиков, которые ей чего-то там дарят... Ну, в

общем... так что, я решил: «Нет, она не единственная девчонка на свете, о которой надо все время думать»...

Затем похвастался я — с легким преувеличением рассказал, как однажды поцеловал одну нашу поселковую девчонку. На самом деле я только пытался ее обнять, за что схлопотал пощечину.

Надо сказать, что мы с девчонками учились в отдельных школах и потому женский пол для нас был почти недостижим. В результате этого нелепого барьера, мы росли не только грубоватыми, но и в какой-то мере ущербными: не имели навыка общения с прекрасной половиной населения, не научились танцевать, ухаживать, проявлять нежность, все это впоследствии дало себя знать, когда мы, одичавшие, бросились в пучину страстей и потерпели массу поражений. Впрочем, были и победы. Но, главное, мы делали какие-то запоздалые открытия, и что еще хуже — рассматривали увлечения чуть ли не как основу жизни, ее сущность.

Но вернусь к костру. Неожиданно я заметил — как только мы со Стариком заговорили о девчонках, Ахмет сник и сидел, понурился. Судя по всему, его не меньше нас волновал романтический вопрос, но здесь — он, толстяк, явно понимал — у него было мало шансов. Я видел на его лице страданье от своей неполноценности и про себя посмеивался над ним, правда с долей жалости.

Ахмет долго сидел насупившись, потом вдруг вскинул на нас глаза и тихо проговорил:

— Дайте слово, что никому не скажете...

— О чем ты? — переспросил я, предугадывая маловажное сообщение.

— Дайте слово, что никогда... никому не скажете...

— Даю слово! — поднял руку Старик.

— Даю слово, — автоматически повторил я, немного озадаченный.

— Я сплю с немкой, — выпучив глаза, выпалил Ахмет, пугаясь собственных слов.

На несколько секунд мы со Стариком онемели от такой беспардонной, наглой лжи, но я быстро собрался и бросил угрожающим тоном, требуя разоблачения:

— Что ты мелешь?!

— Сплю с немкой, — отчетливо произнес Ахмет и опустил голову.

— Врешь! — я чуть не замахнулся на него.

— Не верю! — встрепенулся Старик. — Жалкий обман.

— Сплю! — вздохнул Ахмет с каким-то глубоким сожалением — видимо вспомнил о своей душе.

И в этот момент, неизвестно почему, я с ужасом понял — он говорит правду. И Старик это понял. Мы почувствовали себя ранеными в сердце; нас одновременно затрясло. Я отвел взгляд в сторону и увидел — в воду упало ближайшее к поляне дерево.

У Ахмета еще была возможность взять свои страшные слова назад, все поправить, опровергнуть смелое, но ненужное признание, чтобы с наших душ свалились камни — Старик потянул за спасительную нитку:

— Как?! Этого не может быть! Наша немка!..

Но несчастный великомученик Ахмет уже думал только о своей душе, он решил исповедаться до конца и безжалостно убил нас наповал.

— Ну, вы же знаете... мы проводили дополнительные занятия... Вначале в классе... потом у нее дома... Ее муж... часто в командировках...

Ахмет на минуту замолчал, как бы не решаясь очистить душу полностью.

А в воду уже рушились и дальние деревья. Одно за другим.

Ахмет шмыгнул носом, глубоко вздохнул:

— Она вначале меня гладила... потом целовала... ну, и...  
— он отвернулся и чуть не заревел от своего грехопадения.

Я тоже отвернулся и тупо уставился на речку — она прямо на глазах вставала на дыбы, правда, вскоре снова вошла в свое русло, и деревья встали на свои прежние места — слишком отрезвляющей была исповедь Ахмета.

...Утром по пути к станции мы угрюмо молчали; со Стариком я еще перекинулся несколькими словами, а в сторону Ахмета даже не посмотрел. Да и он плелся намного сзади — сам понял, что стал чужим, слишком взрослым для нас, что ли.

## ТРАВА У НАШЕГО ДОМА

Он был моим самым близким другом в детстве. Мы с ним проводили все дни напролет. С утра обегали наши владения: поляну с небольшим болотцем и пружинящим деревянным настилом через низину, березовый перелесок, овраг, в котором струился ручей, и, наконец, бугор. Мы влетали на бугор и останавливались передохнуть. С бугра открывался прекрасный вид на зеленый луг, по которому проходила железная дорога, и до самого горизонта поднимались и опускались телеграфные провода. Каждое утро по железной дороге проносился скорый; он никогда не останавливался на нашем полустанке, мы и пассажиров не успевали рассмотреть — так, два-три лица, прильнувшие к стеклу, — но все равно их провозжали: я махал рукой, а Яшка кивал бородой. Я сильно завидовал тем, кто мчал в поезде, мне тоже хотелось попутешествовать, побывать в разных городах. А Яшка им совсем не завидовал: поезд скроется, и он спокойно пасется на бугре, щиплет сочную траву, время от времени наполняя утреннюю тишину громким бляньем. Я ложился рядом с Яшкой, обнимал его за шею, делился с ним своими мечтами, и он всегда внимательно смотрел на меня зелеными глазами и слушал, правда, при этом не переставал жевать. Выслушает, качнет головой, как бы говорит: «И куда тебя тянет? Здесь отлично, всего полно. Смотри, сколько ромашек! И чего их не лопаешь?».

В то послевоенное время мы жили в Заволжье, в небольшом поселке, при эвакуированном из Москвы заводе, на котором работал отец. Семья у нас была большая и, сколько я помню, мы постоянно нуждались. Чтобы расплачиваться с долгами, отец с матерью каждую весну покупали месячного поросенка, полгода его откармливали, а к зиме

продавали. Но однажды родители вернулись домой с пустыми руками — на поросят поднялись цены, — а через несколько дней отец принес домой белого козленка. «На худой конец и он сойдет», — сказал.

Козленку было три недели, его тонкие ножки еще разъезжались на полу, он жалобно блеял и мягкими губами тербил занавески — искал мать. Первое время козленок сосал молоко из бутылки с соской и спал с нами, детьми, под тулупом на полу. Бывало, утром вскочит, наступит на руку острыми копытцами и заблеет — просит молока. Потом козленок стал есть все подряд, все, что мы ели, а как только на пригорках зазеленела молодая трава, мне, как старшему, отец поручил выводить его на прогулки.

С этого все и началось. Мы с Яшкой (козленка назвали Яшкой) привязались друг к другу; он ходил за мной, как собачонка, а я доверял ему все свои тайны. Там, на бугре, мы устраивали игры, бегали наперегонки, перескакивали через лужи и коряги, причем вначале Яшка вырывался вперед, но скоро я настигал его, и некоторое время мы неслись рядом, а потом Яшка начинал сдавать. Тогда он резко останавливался и подпрыгивал на одном месте, как бы предлагая новый вариант игры. Здесь уж, естественно, первенство было за ним. Видя, как я неуклюже отрываюсь от земли, Яшка только ухмылялся и взлетал все выше, временами даже зависал в воздухе и искоса поглядывал на себя, любуясь своей ловкостью. Под конец этот бахвалец на радостях брыкался задними ногами и трубил на всю окрестность о своей победе.

Ближе к лету Яшку переселили в пристройку, в которой обычно держали поросенка. К этому времени Яшкина пушистая шерстка превратилась в блестящие завитки, его

взгляд стал более осмысленным, а на лбу появились бугорки. Пробивающиеся рожки чесались, и Яшка все время лез ко мне бодаться. Припадал на передние ноги, качал головой — явно вызывал помериться силами. Я становился перед ним на корточки, и мы упирались лбами друг в друга. Побеждали попеременно, и надо отдать Яшке должное: когда он наседали и я кубарем скатывался под уклон бугра, он никогда не подсказывал и не бил сбоку — ждал, пока я поднимусь и приму оборонительную позу. В нем было какое-то врожденное благородство.

Позднее, когда у Яшки появились рожки, случалось, он не рассчитывал свою силу, и тогда мы ссорились. Например, издаст предупредительный клич, разбежится, скакнет и летит на меня, наклонив башку. Я, конечно, отпрыгивал в сторону, и Яшка врезался в кусты, но, бывало, я не успевал увернуться, и Яшка больно бил меня в плечо. Тут уж я не выдерживал и тоже поддавал ему как следует.

Долго мы не дулись, Яшка первым подходил, клал голову на мои колени, виновато подергивал хвостом и теребил ботинок копытцем: брось, мол, стоит ли ссориться из-за мелочей, ведь мы друзья! Такой ласковый был козленок.

В полдень я ненадолго оставлял Яшку одного: привязывал его веревку к вбитому в землю колышку и шел домой обедать. С обеда притаскивал ломоть хлеба, картошку, морковь — Яшка все уминал, и мы спускались в поселок.

Прежде всего подходили к сапожнику дяде Коле; я наблюдал за его работой, а Яшка дожидался капустной кочерыжки, которую дядя Коля всегда припасал для козленка.

Что меня поражало, так это умение дяди Коли по обуви угадывать наклонности хозяина. Подаст ему какая-нибудь старушка сбитый ботинок, а он посмотрит и скажет:

— Что внучок у вас — футболист?

И старушка сразу закивает:

— Житья от него нету. Отец только на обувь и работает. Вторые за месяц сбил... Да еще штраф за разбитое окно заплатила...

Или принесет какая-нибудь девчонка сандалии, дядя Коля проведет пальцем по стертым носкам и улыбнется:

— Танцовщицей, наверно, хочешь стать?

И девчонка кивнет, опустит глаза и покраснеет. Дядя Коля мог определить, кто ходит прихрамывая, кто косолапит, кто ходит красиво.

Дядя Коля был низкорослым, худощавым, носил очки и при ходьбе сутулился. Он жил в старом доме с обшарпанными стенами, зато его яблоневый сад считался лучшим в поселке. Сад огораживали высокие колья, похожие на гигантские карандаши. У широкой калитки, в которую свободно въезжал грузовик, спал огромный, как медведь, пес Артур. Такие внушительные бастионы и стражу дядя Коля завел вовсе не для охраны фруктов — просто, как многие люди маленького роста, любил все высокое. Под осень мы залезали в сад, трясли яблони, предварительно выманив Артура на улицу жмыхом — он ужасно его любил.

У Яшки с Артуром были вполне дружеские отношения: заметив козленка, пес вставал, потягивался, приветливо размахивал хвостом, подходил вразвалку и покровительственно лизал Яшку большим шершавым языком. А иногда, в знак высшего расположения, притаскивал козленку обмусоленную кость. Конечно, не обходилось без размолвок. Случалось, Яшка забывался и начинал объедать флоксы около дяди Колиного дома. Тогда Артур скалился и рычал, а Яшка сразу вставал на дыбы.

Дядя Коля всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о том, как он будет жить, когда станет лесником.

— Вот выйду на пенсию, сад оставлю посельчанам, сам с Артуром переберусь на природу. У нас ведь здесь все ж заводской поселок, а я хочу жить поближе к земле, к зверью. Устроюсь куда-нибудь лесником на кордон, построю дом из ветвей и травы и крышу из хвои, буду приручать зверюшек...

Однажды мы с Яшкой подошли к дяде Коле, он кивнул мне, кинул Яшке кочерыжку и стал молча подшивать валенок: прокалывал шилом дырочки и протягивал просмоленную дратву. Подшив подошву, начал пробивать ее деревянными гвоздями, чтобы лучше держалась, когда гвозди разбухнут. С полчаса работал и все молчал. «Что ж такое случилось? — думаю. — Может, обиделся на нас с Яшкой за что?» А дядя Коля починил валенок и посмотрел на меня поверх очков:

— Давайними-ка ботинки.

— Зачем?

— Подбить надо. Того гляди, пальцы вылезут.

— У меня денег нет, — пробурчал я.

— Снимай, говорю! — нахмурился дядя Коля.

Я нагнулся, стал развязывать шнурки.

Починил дядя Коля мои ботинки, промазал краской, стали ботинки как новенькие. Надел их, а дядя Коля вздохнул:

— Был у меня такой вот сынишка, как ты. Да в войну умер от простуды. Так-то. Да. Все мечтали мы с пацаном податься в лесничество, построить дом из ветвей и крышу из хвои, приручать разных зверюшек...

От дядя Коли мы с Яшкой направлялись к Крокодилихе — так звали тетку Груню за то, что она свои владения от

мальчишеских набегов огородила плотным забором и еще установила дополнительный барьер — насажала репейник. В ее палисаднике росло множество цветов: георгины, пионы, гвоздики, табак. Время от времени мы посылали в палисадник бумажных голубей с угрожающими записками, а по воскресеньям, когда тетка Груня уезжала в город, пролезали сквозь дыру в заборе, срывали головки цветов и, играя в войну, раздавали цветы как ордена. Георгин считался орденом Красной Звезды, пион — орденом Александра Невского, гвоздики и колокольчики — разными медалями. Отмечали друг друга щедро: в петлицах наших рубашек красовалось столько наград, что позавидовал бы любой фронтовик. После каждого воскресенья клумбы заметно редели. Обходя кусты, Крокодилиха только вздыхала и качала головой, а мы посмеивались и все больше смелели — забирались в цветник и в будни по вечерам...

Около палисадника мы с Яшкой останавливались, находили лазейку, я срывал несколько бутонов, а Яшка, как бы невзначай, объедал пару георгинов — ему очень нравились эти яркие цветы. Он вообще любил все яркое: изумрудную траву у болотца и ромашки на бугре, красную колонку посреди поселка, из которой всегда лилась струя, точно перекрученная стеклянная веревка. Он подходил к колонке, почесывал об нее бока, наклонялся к деревянному желобу и долго пил прохладную воду, бегущую среди гальки и тины. И красную тесьму Яшка предпочитал обычному холщовому поводку. А когда я раздобыл ему медный колокольчик он перед всеми задирает голову и хвастался ярко-желтым украшением.

Однажды в середине лета, когда Яшка уже сильно подрос, мы с ним пролезли в палисадник Крокодилихи; я стал

тянуть какой-то венчик, а Яшка принялся за георгин. Внезапно перед нами возникла Крокодилиха. Яшка сразу срейфил и дал стрекача, рассыпая черные горошины, а я от страха онемел, даже не успел спрятать цветок за спину; нагнул голову и жду наказания. Но Крокодилиха неожиданно глубоко вздохнула:

— Что же ты делаешь? Я ж букеты в детский дом отвожу. Детишкам, у которых родители погибли на фронте, — она махнула рукой, подошла к калитке, распахнула ее. — Зови своих дружков. Дорывайте!..

С того дня Крокодилиха снова стала теткой Груней, и хотя калитка в ее палисадник больше не запиралась, никто не сорвал ни одного цветка. Даже Яшка обходил палисадник стороной — такой сообразительный был козленок!

На окраине нашего поселка пролегалo шоссе — наполовину асфальтированная, наполовину мощеная дамба. По ту сторону дамбы находилась керосиновая лавка, каморка утильщика и мастерская по ремонту замков, примусов, патефонов и прочего. За мастерской начиналась городская свалка. Ее называли городской, несмотря на то, что город находился в пяти километрах от нашего поселка. Видимо, городские власти рассматривали наш поселок как никчемное место, годное лишь для хлама.

Мы с Яшкой любили ходить по свалке; я собирал старые журналы, разные бракованные детали, Яшка искал в основном огрызки овощей, но если ему попадалось что-нибудь несъедобное, но яркое, сразу звал меня.

После свалки подходили к мастерской и через открытую дверь наблюдали за работой мастера, молодого, вечно небритого мужчины с сиплым голосом. Заметив нас, мастер

обычно усмехался и отпускал какую-нибудь дурацкую шуточку, вроде такой:

— Ну что, подковать своего козла привел? Все одно коня из него не сделаешь. Козел — он и есть козел. И толку от него никакого.

После таких слов мы с Яшкой поворачивали и уходили. Не знаю, как Яшка, а я вообще не подходил бы к мастеру, но уж очень хорошая у него была мастерская: на верстаке стояли тиски, на полках лежал слесарный инструмент, в углу виднелся маленький горн с мехами. Я все мечтал, когда вырасту, тоже обзавестись подобной мастерской.

Как-то осенью у моего самодельного самоката треснула петля, а новых нигде не было. Пришлось выпрашивать у матери деньги на ремонт. Мать дала сорок копеек. Пришел я к мастеру, попросил починить петлю. Мастер мрачно посмотрел на меня — он сидел на лавке и паял чайник, — отложил работу и прохрипел:

— Это что, твой второй козел? Ну, давай посмотрю... Э-э! Тут варить надо, стручок. Тащи на завод. А как ты думал? — он взглянул на меня. — Но можно и заклепать вообще-то. Заклепать, что ли?

Я кивнул.

— Ладно, посиди на улице, здесь не мешайся.

Через полчаса мастер поставил железную заплатку на трещину и прикрепил ее заклепками.

— Гони рубль, — сказал, толкнув самокат ко мне.

Я протянул монеты и покраснел:

— У меня только сорок копеек.

— Давай, завтра принесешь остальные.

Выкатив самокат, я пересек шоссе и пошел к дому. Помнится, день был пасмурный, с утра накрапывал нудный

дождь. «Где же взять шестьдесят копеек? — соображал я. — Матери лучше не заикаться — не даст. Ждать до получения отца долго». И вдруг вспомнил, что в книжном магазине напротив школы букинист покупает книги у населения.

Моя библиотека состояла из трех книг, но у одной не хватало страницы, на другой виднелись чернильные пятна, третья — «Остров сокровищ», была в хорошем состоянии, но ее я считал лучшей на свете. Долго я колебался, сдавать ее или не сдавать, потом все же решился. «Накоплю денег, снова куплю», — подумал и отправился в магазин.

Весь тот день Яшка сочувственно посматривал на меня, а когда я ушел в магазин, то и дело выбегал на улицу, озираясь и тревожно блеял — искал меня. Он любил меня по-настоящему и скучал, даже если я ненадолго оставлял его одного. К тому времени Яшка уже вымахал с дяди Колиного Артура, но его сердце не почерствело.

На следующее утро денек был отличный — всю сверкало солнце. Когда я бежал в мастерскую, в моем кармане гремело пятьдесят пять копеек.

— Вот деньги! — влетев к мастеру, задыхаясь, проговорил я. — Здесь не хватает пятака. Я вам завтра принесу. Мне мать даст на завтрак.

— Какие деньги? — просипел мастер.

— Вы вчера... чинили мой самокат...

— Ну и что?

— Я шестьдесят копеек должен...

— А-а! Это хорошо. Беги, купи папирос. И живо сюда!

Около нашего дома росла необыкновенная трава: высокая, упругая, ярко-зеленая, пахучая. Мы с Яшкой любили по вечерам полежать в траве, отдохнуть от дневных дел. Над нами трепетали бабочки, жужжали мухи, а перед глазами

прыгали кузнечики, ползали изумрудные жуки... Я срывал травинки и жевал сочную горьковатую зелень. Яшка к траве только принюхивался, но никогда не щипал — сохранял для красоты. Такой умный был козленок!

На той траве у нашего дома я мечтал побыстрее вырасти, выучиться на инженера и поступить на отцовский завод. И мечтал развести сад, такой же, как у дядя Коли, и цветник, подобный палисаднику тетки Груни, и мастерскую — вроде хибары мастера. И опять я доверял свои мечты Яшке. Уставший за день Яшка слушал меня уже менее внимательно, а под конец вообще закрывал глаза.

К зиме Яшка превратился в могучего козла, с крепкими рогами и роскошной бородой. Характер у Яшки заметно испортился — он стал задиристый, лез ко всем животным в поселке, даже приставал к Артуру и только меня любил по-прежнему.

Бывало, какой-нибудь мальчишка показывал мне кулак. Яшка тут же забегал вперед, выставял рога и бил копытом о землю — давал понять, что не даст меня в обиду.

Пока я был в школе, Яшка сидел в загоне около пристройки и вглядывался в дорогу — ждал меня, чтобы отправиться на бугор. Я тоже скучал по Яшке: болтаться с ним по окрестностям мне было интереснее, чем зубрить разные формулы и спрягать глаголы. Учителя не понимали причин моей рассеянности на занятиях и частенько в дневнике писали родителям, что я просто лентяй. Отец с матерью только вздыхали.

Долго они оттягивали разговор о продаже Яшки. Но однажды вечером сквозь сон я услышал, как мать говорила отцу, что продать Яшку вряд ли удастся — она уже предла-

гала кое-кому на рынке, — что Яшку придется забить и продавать мясо. Отец пыхтел папиросой и отмалчивался.

Надо сказать, отец был мягким, сентиментальным человеком, любил животных, цветы и грустную музыку. Жизнь крепко побила отца: он рано потерял родителей, с подросткового возраста работал на заводе, на фронте погибли все его друзья; он в одиночку тянул большую семью и жил в захолустье, далеко от родины. В те годы наиболее предприимчивые из эвакуированных уже перебрались в Москву, а отец никуда не ходил и ничего не делал для того, чтобы вернуться на прежнее местожительство. Он был скромным, даже застенчивым человеком. Мать была гораздо энергичнее. Она часто обвиняла отца в мягкотелости, сама ходила в дирекцию завода и в конце концов добилась своего — отца перевели на работу в Подмосковье. Но это произошло не скоро.

В тот поздний вечер, когда решалась судьба Яшки, отец сказал матери:

— Давай не будем пока этого делать. Немного денег у нас есть, и я должен еще в одном месте подработать, а попозже, ближе к Новому году... Там видно будет...

Зимой мы с Яшкой по-прежнему обегали наши любимые места и, как и летом, провожали скорые поезда, а с бугра катались по накатанному склону: я на валенках, а Яшка на животе. Ему очень нравился снег. Бывало, даже купался в сугробах — перекатывался с боку на бок, задрал ноги. Как-то мастер увидел его за этим занятием и ухмыльнулся:

— Твой козел совсем спятил. Забивать его пора, а вы с ним цацкаетесь.

После этих слов мы с Яшкой стали обходить мастерскую стороной.

Отец говорил, что, валяясь в снегу, Яшка чистит шерсть, но я-то знал — мой друг просто радовался зиме.

В морозные дни Яшку брали на ночь домой, и мы, как и раньше, спали с ним на полу, в обнимку. Причем, хитрец Яшка все норовил занять лучшее место, у печки, из-за этого мы всегда долго укладывались — то я теснил его, то он меня.

До Нового года мать больше не заговаривала о Яшке, но я не раз замечал, как отец украдкой сидел с моим другом у пристройки, курил папиросу и поглаживал козла.

В середине зимы родители увязли в долгах, а тут еще заболела моя сестра, нужно было хорошее питание, и мать твердо сказала отцу:

— Будь мужчиной! Думаешь, мне Яшку не жалко? Но чем отдавать долги? И чем кормить детей? Их здоровье мне дороже Яшки!

Отец долго молча курил, шмыгал носом, потом глубоко вздохнул и пообещал матери забить Яшку в субботу. Этот разговор я опять услышал случайно и в ту ночь долго не мог уснуть. Жизнь Яшки была в опасности, и я решил убежать с ним из дома.

На следующий день была пятница. Сразу после школы я обвязал вокруг Яшкиной шеи веревку, и мы с ним направились на наш бугор. Ничего не подозревавший Яшка начал, как обычно, носиться, валяться в снегу, лез ко мне бодаться, но я быстро его пристегнул и потащил к железнодорожному полотну... Я задумал отсидеться с Яшкой на ближайшей станции, пока отец с матерью не найдут другой выход расплатиться с долгами.

Мы протопали километра два, как вдруг услышали сзади окрик отца, он бежал за нами, махал рукой. Подойдя, отец

снял шапку, вытер ладонью взмокшее лицо, закурил, глубоко затянулся.

— Понимаешь, — сказал, выпуская дым, — если бы мы с тобой жили вдвоем, мы как-нибудь перебились бы. Но ведь больна твоя сестра. Она не поправится без масла, молока. Да и долгов у нас полно... Яшку придется...

Отец хотел сказать «забить», но у него не повернулся язык.

— Мы с тобой должны быть мужчинами, над нами уже все смеются, — то ли меня, то ли себя уговаривал отец. — Если хочешь, мы заведем собаку, — не очень уверенно добавил отец, прекрасно понимая, что никакая собака не заменит мне Яшки.

Назад мы плелись молча. Яшка все понял — топал упираясь, насупившись. Я тоже еле ковылял и беззвучно ревел.

Утром отец куда-то ушел и вернулся с длинным ножом из напильника. Пока отец затачивал нож на бруске, я зашел в пристройку попрощаться с Яшкой. Он стоял, прижавшись к стене, подрагивал ногами, тревожно сопел и даже отказался от своего любимого лакомства — моркови. Он даже не посмотрел на меня, только покосился и отвернулся — как от предателя.

Когда отец вошел к нему с ножом, он забился в угол и отчаянно заблеял. И вдруг подбежал к отцу и стал лизать ему руки. Отец постоял в растерянности, потом бросил нож и, какой-то обмякший, побрел к дому.

Мать пошла по соседям и вскоре вернулась с мастером. Он согласился убить Яшку не потому, что недолюбливал его, а просто мать пообещала ему заплатить. К тому же, у мастера было охотничье ружье, и мать справедливо решила, что так все кончится быстрее, без всяких мучений для Яшки.

Когда мастер открыл дверь пристройки, Яшка ударил его рогами, вырвался во двор и стал метаться из стороны в сторону. Мастер поймал конец веревки и хотел привязать Яшку к забору, но с большим сильным козлом не так-то легко было справиться.

В конце концов мастер плюнул, бросил веревку, вскинул ружье и стал выжидать, когда Яшка на мгновение остановится. Я отвернулся, заткнул уши... Потом услышал одновременно и выстрел, и рев Яшки. Повернувшись, я увидел, что Яшка лежит на боку с открытыми глазами и неистово дергает копытами. Через секунду он вскочил и, припадая на передние ноги, пробежал несколько метров, разбрызгивая кровь по снегу, потом упал, и его забила дрожь... Эта дрожь становилась все мельче, пока в Яшкиных глазах окончательно не угасла жизнь.

Моего Яшку убили на месте, где летом мы любили полежать, отдохнуть от наших будничных дел; на месте, где всегда росла высокая ярко-зеленая трава. Я забыл сказать еще об одном свойстве той травы: даже в самые жаркие дни она оставалась влажной, и какие бы мы с Яшкой ни были разгоряченные, какие бы обиды или радости не переполняли нас, когда мы ложились в траву, становилось прохладно и спокойно.

## АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

Да что ж это такое, что со мной происходит, я совсем потерял голову, не помню какое сегодня число, день недели, все валится из рук — неужели наступила весна? В доме какое-то сумасшествие: теплый ветер распахивает форточку, полощет занавески, срывает абажур, все вещи в некоем незамкнутом пространстве — сместились и витают и раскачиваются, словно куклы на нитках, и стол, и тахта, и шкаф отодвинулись и маячат где-то в отдаленье, как бы ушли в прошлое, вместе со всей предыдущей жизнью. Похоже, это весна.

Я выхожу на улицу, а там и вовсе водоворот, веселое безумство: на мокром тротуаре осколки упавших домов и перевернутых машин, все искажается, кружится и слепит, отражая яркое солнце. На каждом углу продают фиалки и мимозу, цветы в киосках и кафе, в витринах магазинов и троллейбусах — от их запаха нет спасения. Еще капает с крыш и время от времени сыплет прозрачный дождь, но без сомненья — это весна. Слишком много неопровержимых признаков.

На улице прямо-таки всеобщее братство — незнакомые люди улыбаются друг другу, первые смельчаки разгуливают без пальто, приветствуя каждого встречного — смотрите, первый весенний солнечный день! В сквере детский гомон сливается с гомоном птиц, один мальчишка тащит скворечник, другой не выдержал и выкатил велосипед, девчонка-подросток вальсирует меж деревьев. Все немного сошли с ума, не иначе. Что творится с женщинами! У них посветлели глаза и походки стали легкими, в улыбках — ожидание, надежда. Кто бы подумал, что в городе так много красивых женщин, и куда они прятались до сих пор? Да и мужчины

изменились: с них точно смыло всегдашнюю угрюмость, на их лицах тоже улыбки, смутные улыбки людей, уставших от долгой зимы. Улыбаются даже те, кто обычно редко улыбается: дворник и постовой, водитель автобуса и продавщица овощного ларька; улыбаются абсолютно все, будто истосковались по свободе и вот, наконец, ее обрели. Среди прохожих я вижу нашу почтальоншу, мужчину из соседнего подъезда, знакомого художника, сослуживца по работе, даже соседку с прежнего местожительства — и как очутилась в нашем районе? Я и не знал, что у меня так много знакомых; с одними здороваюсь издали, с другими обмениваюсь рукопожатием,

— Теперь все худшее позади, теперь-то все будет хорошо, — говорим мы друг другу. — И забудем, простим обиды, ведь наступила весна.

Я вхожу в телефонную будку, обзваниваю друзей, голоса у них праздничные, они подтверждают — сегодня, вот так внезапно наступила весна. Мы договариваемся о встрече на вечер; и не виделись всего ничего, а кажется, прошла целая вечность.

По пути на работу захожу в кафе и, ожидая у стойки кофе, заговариваю с симпатичной барменшей, — у нее открытая грудь, зеленые глаза; я еще только налаживаю контакт, а она уже верещит:

— ...Такой небритый, мог бы и побриться по случаю весны... И неухоженный. Наверное, нет жены. А у меня нет мужа. Наш дом ломают и если у меня будет муж, я получу большую квартиру. Давай поженимся... Ненадолго.

— Поженимся? Ненадолго?

— Ну да. Весна-то скоро пройдет и дом сломают.

— Нет уж, сударыня. Весна в этом вопросе ни при чем. И дом тоже. Я, понимаете ли, к женитьбе отношусь крайне серьезно... Ваши достоинства, сударыня, очевидны, и легкий роман — пожалуйста. Очень легкий. А жениться...

— Знаете что! Вы просто трус или совершенно непрактичный.

— Скорее первое. А может и второе, не знаю. Но поверьте, в душе я человек положительный. Я не против женитьбы, но мне нужна идеальная жена. И потом, есть такая вещь, как любовь, вы слышали?

— С вами все ясно, вы просто зануда. И на вас не действует весна, — она ставит чашку на стойку и исчезает в глубине бара.

Ну вот, еще и не разобрались, что к чему, а она уже меня бросает. Я беру кофе и направляюсь к столу. Не действует весна! Еще как действует! Но именно весной нельзя быть такой практичной. В другое время года еще куда ни шло, но сейчас никак нельзя. Сейчас время чувств, а не дел. Мне даже на работу не хочется идти. Впрочем, о чем это я?! Барменша, дом, квартира, работа... Очевидно, во всем виновата весна.

Я сажусь у окна; за стеклом, точно в гигантском аквариуме плывут прохожие, машины; на противоположной стороне улицы стайка девушек парикмахерш, стоят на ступенях салона, разглядывают прохожих, щурятся от солнца, смеются. Надо же, заметили меня, машут руками, как бы подогревая мой романтический настрой. Но пора на работу, никуда не деться от этой работы. Как-нибудь в другой раз, сударыни. Куда спешить? Весна-то только началась.

Вестибюль метро как запруда в половодье — все пестрит от плащей и разноцветных зонтов и, по-прежнему, всюду

множество цветов. На эскалаторе все вежливые, предупредительные, и опять — сплошные улыбки.

Мне и ехать-то всего три остановки по прямой, без всяких пересадок; и надо же! На следующей станции в вагон впорхнуло чудо — светловолосое юное существо с нотной папкой и веткой мимозы — прозрачный розовый плащ просвечивает тонкую фигуру, как соломинку в стакане коктейля; на лице капли дождя и самая прекрасная улыбка из всех, которые я увидел за утро. И создает же природа такое! Надо подойти, сказать что-нибудь замечательное: «Вас Бог послал. Я знал, что сегодня вас встречу, ведь сегодня наступила весна и значит, если чего-то очень хочешь, это случится». Или нет, другое: «Знаете, мне очень одиноко, только вы можете меня спасти». Нет, и это не годится. Может, просто: «Давайте познакомимся, ведь наступила весна».

Да, что я в самом деле! Вот так всегда. С барменшами, парикмахершами знакомлюсь запросто, а как только встречаю потрясающую женщину, теряюсь и не нахожу слов. А сейчас стою как обмороженный — она не потрясающая, она — ангел, случайно спустившийся на землю, такое судьба посылает раз в жизни... Вот повернулась в мою сторону, чуть дрогнула улыбка, исчезла совсем, она продолжает улыбаться одними глазами. Господи, как хороша! Ее лицо снова озаряет лучезарная улыбка, на этот раз она предназначена только мне, это яснее ясного. Болван! Я не двигаюсь с места.

Моя станция, но я и не думаю выходить — черт с ней, с работой. Какая работа, когда решается судьба! Конечно, она с радостной готовностью откликнется на любые мои слова — нас уже связывает невидимая нить. Конечно, мы будем встречаться и это будет чистая и пылкая любовь, без

всяких размолвок и огорчений — каждодневное всевозрастающее счастье, одна круглогодичная весна. И, разумеется, мы поженимся. Это будет совершенно непрактичный брак. Ну что я имею?! Комнату в коммуналке и работу — так себе, обычный оклад рядового инженера, а она, наверняка, студентка консерватории или учитель в музыкальной школе, но у нас огромное будущее, ведь мне нет и тридцати, а ей всего-то двадцать, не больше... Как замечательно вместе завтракать, разбегаться по делам, ненадолго расставаться, чтобы вскоре встретиться вновь, за ужином пересказывать друг другу новости на работе, в учебе, сходить в кино, навестить общих друзей; а в выходные дни отправиться в гости к родственникам, совершить вылазку на природу, запланировать летний отпуск, вслух что-нибудь почитать, послушать музыку, заняться домашними делами, а перед сном, обнявшись, смотреть телевизор, то есть жить теми мелкими отдельностями, которые все вместе называются семейным счастьем.

Но что это?! Она выходит и спешит к эскалатору. Что за станция, ничего не соображаю. Расталкивая пассажиров, устремляюсь за ней, сердце колотится — готово выпрыгнуть из грудной клетки, такого со мной еще не было, но и девушку-ангела я встретил впервые, потому и боюсь ее потерять. Розовый плащ, точно язычок пламени, мелькает в толпе, поднимается по эскалатору. Обернется или нет? Нельзя же так жестоко обрывать уже различимую нить. Может быть чувствует, что я где-то рядом — обычно женщины это чувствуют; но почему так спешит? Быть может посчитала меня нерешительным дуралеем? Собственно, таков я и есть — законченный дурак, полный кретин. Ее улыбка была открытым посланием — призывом, а я, идиот, упустил мо-

мент, и потом упустил уйму времени, станций пять, уж точно. Но еще не поздно. Вот и вестибюль, я держусь в двух-трех метрах — ничтожное расстояние до счастья, но хоть убей, не могу его преодолеть.

Мы выходим на улицу почти одновременно; нас встречают ослепительные ручьи, оглушающий шум, многогололье. Она быстро идет по тротуару, размахивая папкой; замечаю торопливый полуоборот, но вряд ли он адресован мне, скорее — просто беглый взгляд на свое отражение в витрине. Она сворачивает за угол и мне надо во что бы то ни стало ее догнать — это последний шанс, но ноги не слушаются и сами собой замедляют шаг; еле доплелся до угла — она удаляется, вот-вот исчезнет, чтобы больше в моей жизни не появиться никогда.

## ЗАКОЛДОВАННАЯ

Психоневрологическая больница имени Кащенко находится в бывшем монастыре, стоящем на возвышении около Старого шоссе. Я не раз слышал от стариков, что в былые времена место для монастырей искали юродивые — они чувствуют выход энергии из земли, — и поэтому полезно постоять около монастырских стен, особенно в вечерние часы — заряжаешься этой энергией. Недаром же говорят: «Сходил в церковь — полегчало». Иногда я думал: может, неспроста и больницу для умалишенных устроили в монастыре, ведь считается, что душевнобольные потеряли связь с землей, у них нет своего энергетического поля.

С одной стороны к больнице подступает пустырь с новостройками, с другой — Даниловское кладбище. Может, и это не случайно? Больные видят нормальных людей, их тянет к ним, но дома от больницы отделяет озеро, а известно — «незаземленные» боятся воды и мало кто из них преодолевает этот страх. Зато переплывшие озеро становятся «заземленными» — такими, как все. А соседство кладбища без всяких намеков показывает, куда ведет более легкая дорога. Обо всем этом я думал по пути в больницу. Иногда такие мысли уводили меня еще дальше. Я, например, рассуждал: а что, если количество энергии в природе уравновешено; то есть, если в одном человеке ее больше, то в другом — соответственно должно быть меньше. И тогда получалось, что многие старухи, сидящие перед домами и осуждающие молодежь, живут как раз за счет рано умерших молодых людей. Я приходил и к еще более сомнительным выводам, пока ходил от трамвайной остановки на Старом шоссе в гору, к воротам монастыря. Чего только ни придет в голову за эти минуты! В самом деле, психика — туманная область, врачи и те не могут разобраться.

Каждое воскресенье к больничным корпусам тянутся цепочки людей с коробками и сумками. Вдоль аллей стоят старухи, продающие цветы, шитье и карамели. Между корпусов в полосатых халатах прогуливаются больные. Некоторые из легкобольных помогают обслуге около котельной и кухни.

Двенадцатое отделение, где лежала моя сестра, занимало самый дальний корпус. Здесь находились шизофреники-хроники. Во время свиданий посетителей впускали в холл; они располагались на стульях за столами и у подоконников, доставали из сумок еду, раскладывали на салфетках и газетах, открывали бутылки с соком и лимонадом. В палату вела дверь с застекленным окошком. Около двери стояла медсестра с квадратным ключом-ручкой, она по одному впускала больных в холл; остальные больные нетерпеливо вглядывались в окошко.

В двенадцатом отделении лежали разные больные: с плохой наследственностью, перенесшие тяжелые душевные травмы, старые девы, «заучившиеся» девчонки... Я помню бывшую балерину, которая помешалась, оттого что начала полнеть. К балерине ходил отец, семидесятилетний старик. Обычно она ничего не ела из того, что он приносил.

— Я тебя, папа, совсем не это просила принести, — заявляла и начинала танцевать по холлу, раздавая больным фрукты.

Время от времени она крутилась на одной ноге или застывала, раскинув руки, и улыбалась, потом подбегала к медсестре и восклицала:

— О-о! Ну когда же за мной придет машина? Мы поедем в аэропорт, да? Мы полетим в Париж, да?

— Да, полетим, — успокаивала ее медсестра. — Сядь, не прыгай!

Помню кассиршу, которая, как говорили врачи, помешалась после того, как от нее ушел муж. Кассирша выглядела спокойной женщиной с умным лицом. Ее муж был архитектором неудачником; он быстро всем загорался, но так же быстро ко всему охладевал и отчаивался. Много лет кассирша с ним нянчилась: то утешала, то подогревала его честолюбие, заражала желанием работать. В конце концов он по-настоящему увлекся каким-то проектом, получил за него премию, стал известным, купил машину и... начал навещать к незамужней сестре кассирши, а позднее и совсем переехал к ней. Кассиршу изредка навещала соседка.

Больные меня любили — я подыгрывал им, видел их такими, какими они хотели быть. Когда балерина танцевала, я подходил к ней и хвалил ее «партию», и она краснела от удовольствия, а через минуту танцевала только «для меня»... Одна девушка всегда бросалась мне на шею и шептала:

— Наконец-то ты пришел! Я заждалась. Ты написал мой портрет?

Рыжей девушке я приносил конфеты, а однажды и сделал ее портрет цветными карандашами.

Наверно, я поступал неправильно, поддерживая иллюзорный мир сломленных людей. «Но, с другой стороны, — размышлял я, — они очертили вокруг себя определенные круги и по-своему счастливы. Разбей эти круги — лишишь их единственной радости». Говорили, общаться с нервными больными вредно — они забирают часть энергии здоровых людей, будто бы после больницы чувствуешь себя разбитым. Я этого не замечал, — наверно, от природы толстокожий. Но мне становилось грустно и больно за этих людей, лишенных радостей жизни.

Мы с сестрой обычно пристраивались в углу, около кадки с пальмой. Пока сестра ела, я расспрашивал ее о самочувствии, о подругах, о производственных мастерских, где они делали бумажные цветы, коробки, заколки.

Сестре исполнилось тридцать пять лет, половину из них она провела в больницах; из красивой девчухи превратилась в старуху с лицом землистого цвета; ее взгляд остекленел, руки мелко дрожали, она все время что-то бормотала, издавая нервный приглушенный смешок. Долго со мной она не разговаривала; съест пару яблок, односложно ответит на вопросы, потом вздохнет:

— Ну я пошла.

Я ставил в ее ящик фрукты и мы прощались.

...Как все началось, теперь трудно вспомнить. В нашей родне не было подобных больных и в кого она — непонятно. Она всегда отличалась странностями. Еще до войны, когда ей было всего четыре года, я заметил, что она не такая, как все. Мы жили тогда в подмосковном поселке на станции Правда. Отец и мать работали в Москве, отец — инженером, мать — чертежницей. Утренней электричкой они уезжали в город и возвращались поздно вечером; целыми днями мы с сестрой были предоставлены самим себе. Мне, как старшему, поручали подогреть обед, поливать грядки, следить за курами. Сестра во всем помогала мне. И вот в те дни я и заметил ее необычность.

Она всегда была очень тонкая, словно тростинка, с голубыми волосами — голубыми от природы! — и зеленоватыми, прозрачными, как льдинки, глазами. Но однажды я заметил, что она еще и какая-то прозрачная — от нее не было отражения в воде, и даже в солнечные дни не падало тени. Это заметил не один. Бывало, вокруг нее соберутся ребята и смеются:

— Нинка-то прозрачная!

А она растерянно смотрит по сторонам, ищет рядом с собой темное пятнышко... И ходила она странно: под ней не приминалась трава, не оставалось следов на песке и снегу. Как и все ребята, летом она ходила босиком, но ее ноги всегда были незапыленными. Она не шла, а порхала над землей, невесомая, хрупкая. В дождь на нее не падали капли — казалось, вокруг нее защитное облако, невидимый стеклянный колпак, казалось, сама природа оберегает ее от напастей. Стоило ей дотронуться до бутонов цветов, как они сразу распускались, стоило поднять бабочку со сбитой пыльцой, как та улетала — она все оживляла, точно волшебница... Она ходила медленно, плавно и тихо, даже наша скрипучая дверь не издавала звуков, когда она открывала ее; казалось, она не входит, а влетает, и не уходит, а растворяется, словно невидимка.

Ночами она частенько исчезала из дома, выходила в сад, и к ней сразу слетались светляки. Случалось, ночами гуляла и по поселку, и тогда к ней сбегались собаки и кошки. Любили ее. Жалели, что ли?.. Говорили, у нее «лунная» болезнь, будто она родилась в полнолуние. Говорили также, что ее ночные прогулки — последствия жуткой грозы, в которую она попала в двухлетнем возрасте... В тот день она играла перед домом, а я на окраине поселка запускал змея. Гроза налетела внезапно; молнии сверкали одна за другой, от грохота дрожали дома... Я долго искал сестру — оказалось, она пряталась в собачьей будке.

Мать не верила ни в «лунатизм», ни в последствия грозы, и позднее говорила:

— Во всем виновата война.

Действительно, когда началась эвакуация, наш эшелон бомбили, и во время налетов сестра плакала и испуганно забивалась под лавку. За полтора месяца, которые эшелон тянулся на восток, товарные вагоны сильно продувались, и когда мы прибыли в Казань, у сестры обнаружили нефрозонефрит; ее распухшую положили в больницу. В больнице детей кормили плохо, но два раза в день давали по двадцать граммов молока-суфле. Наливали в баночки, которые ставят при простуде. Чуть ли не каждый день в палатах умирал ребенок. Женщины уже не плакали, только крестились — дети избавились от голодной смерти. Мать решила не сдаваться: не отходила от сестры по два-три дня подряд; с разрешения врача спала в коридоре. Ночами сестра бредила:

— Это не мама, а кто-то с рогами. Я боюсь.

Нужно было где-то достать продукты, и мать отправилась в деревни менять вещи: уложила в мешок перешитые и заштопанные кофты, туфли, покрывало. На другой день привезла масло, картошку, хлеб. Вскоре сестру выписали из больницы, но она была слаба и с кровати не вставала, а во сне все время плакала.

Мы жили в бывшем студенческом общежитии, в темных комнатухах, переделанных под жилье из туалета и ванной. На холодном кафельном полу стояла печурка «буржуйка» — единственная семейная ценность; для нее собирали щепки по всей окрестности. Отец и мать работали на эвакуированном оборонном заводе, и снова мы с сестрой подолгу оставались вдвоем. Я возвращался из школы в час дня, разогревал на печке какую-нибудь чечевичную похлебку или кулеш — мучную кашу, мы с сестрой обедали, потом я читал ей книжки. Как-то сестра захотела порисо-

вать, и я дал ей бумагу и цветные карандаши. Она протянула тонкую руку и с мутным взглядом стала как-то странно ощупывать карандаши; потом вдруг заплакала:

— Я не знаю, где красный... И какие еще есть. Это только палочки!

Вернувшись с работы, мать завернула сестру в одеяло, и мы пошли к врачу, который жил на нашей улице.

За дверью с табличкой «Профессор Черников» слышались крики. Дверь открыла домработница. Из комнаты доносилась визгливая, захлебывающаяся ругань женщины:

— ...Нахал. Взрослые дети, а ты заводишь любовницу!

Из комнаты вылетел пожилой мужчина с красным раздраженным лицом.

— Что у вас? — бросил не глядя.

Мать попросила осмотреть сестру. Мужчина нехотя впустил нас в комнату. В кресле, обложенная подушками, сидела красивая старуха и изливала поток оскорблений. Она кричала и смотрела мимо нас, точно выискивая кого-то за нашими спинами.

— У нас пациентка, — остановил ее профессор, и старуха моментально осеклась.

Я часто встречал профессора и старуху на улице, вечерами они прогуливались под руку.

Осмотрев сестру, профессор сказал:

— Ее не долечили. Больницы переполнены, и всех выпивают раньше времени. Она сейчас не видит, но это должно пройти.

Он выписал направление в больницу. Прощаясь, мать отдала профессору последние деньги.

Позднее мать говорила:

— Несчастья, как правило, выбирают самых незащищенных. В нашей семье они выбрали Нинусю, самую чувствительную, ранимую.

Те военные годы в памяти остались как запыленные, темные картины: мрачные коридоры общежития, коптилки, сухари, жмых, клопы и мыши, худые усталые лица, похоронки, которые приносил почтальон, слезы, отчаяние... Помню, собирали крапиву и моллюсков на Казанке; из них мать варила щи «фантазии».

Как-то мы с сестрой были на реке — собирали створки моллюсков, и вдруг над нами низко пронесся коршун. Сестра испугалась, и, чтобы спрятаться под кустом тальника, не вбежала, а каким-то странным образом перенеслась на край обрыва, по которому все ребята обычно долго карабкались; я и моргнуть не успел, как она очутилась наверху, словно ее подбросили гигантские качели.

В другой раз сестра пожаловалась мне:

— Девочки из общежития забрали всю красоту. Увидят что-нибудь красивое и сразу кричат: «Мое!». А я не успеваю. Все красивое разобрали, а мне ничего не осталось.

В школу ходили далеко, классы не отапливались — занимались в пальто, при свечах, писали на оберточной бумаге, один учебник выдавали на троих. Единственная светлая картина того времени — спектакли в общежитии. Мы устраивали представления: из обрезков фанеры сколачивали декорации, разрисовывали их акварелью, делали костюмы из разного тряпья. Ставили «Золотой ключик», «Хижину дяди Тома». Лучше всех выступала сестра: пластичная и легкая, она отлично танцевала, свободно делала кольцо и шпагат, а главное, так искренне входила в роль, что и после спектакля подолгу не выходила из образа: идет, пританцо-

ывая, по коридору общежития, напевает, улыбается, разговаривает с невидимыми героями. Бывало, неделями не возвращалась в реальность. А по утрам рассказывала мне свои «цветные» сны — какие-то сказочные картинки, потом бежала за общежитие, втыкала палки в снег и танцевала среди «деревьев». За общежитием простирался пустырь, а она помнила станцию Правда и наш дом на опушке леса.

— Твоя сеструха-то того, с бзиком, — усмехались мои приятели и крутили согнутым пальцем у виска.

— Ерунда! — злился я, а у самого внутри начинало как-то щемить.

— Заколдованная девочка, — качали головами старухи, завидев сестру.

— Нина! Опустись на землю, — тревожно говорила мать.

— Мамочка! А зачем?

И правда, зачем? Если все живут на земле, ведь кто-то должен жить на небе. Как оскудела бы жизнь, если бы не было незаземленных людей.

После войны мы переехали на окраину Казани, в маленький поселок Аметьево, около железнодорожного разъезда. Летом в поселке работали в саду и огороде, сколачивали разные постройки, по воскресеньям ходили в лес за грибами. Пожалуй, то время было лучшим для нашей семьи. Конечно, не обходилось без размолвок — отец часто впадал в уныние и выпивал (на фронте погибли все его друзья), а мать постоянно нервничала из-за Нины. Зимой, когда завьюживало, становилось тоскливо; город был далеко, ни в театры, ни в кино не выбирались. Случалось, рвались провода, и по вечерам снова, как в общежитии, сидели при коптилках. Единственное, что в то время нас связывало с миром, — это радиоприемник.

Сестра все вечера напролет просиживала около нашего старого «Рекорда»; прислонится щекой к радиоприемнику, слушает музыку, улыбается своим красочным фантазиям, неотвязным плавающим мыслям... Музыка всегда была с ней: идет ли в школу, помогает ли матери на кухне или окучивает грядки — напевает, останавливается, замирает, прислушивается к звучащим мелодиям... Музыка околдовывала, парализовывала ее чувство реальности.

Иногда сестра представляла себя пианисткой, играющей в светлом зале, где танцевали принцы и Золушки. В такие минуты ее глаза стекленели, а пальцы бегали по невидимым клавишам. Но вот голос матери или отца разбивал прозрачную скорлупу, бумажный замок рушился, мелодия исчезала, и перед глазами — сеновал, кувшин из необожженной глины, огороженный угол с недозрелыми помидорами, поленья у печки...

Еще когда мы жили в общежитии, мать отвела сестру в музыкальную школу, у нее нашли редкие способности, но школа находилась в центре города, к тому же не было денег, чтобы платить за учебу, — сколько я помню, мы никогда не вылезали из долгов. Но мать не теряла надежды приобрести инструмент и найти на окраине учителя музыки.

Одно время у меня была морская раковина; я постоянно таскал ее в кармане, то и дело доставал, прислонял к уху и слушал отдаленный морской гул. Но однажды сестра сказала с таинственной улыбкой:

— А столбы слушать интереснее!..

— Какие столбы?

— Телеграфные. Прислонишь ухо, и можно послушать музыку. Побежали, послушаем... Там еще красивые тени!..

Она привела меня на пустырь за поселком, где к кирпичным заводам тянулся железнодорожный путь и телеграфные провода. Провода висели на старых столбах, потрескавшихся, сучковатых. Мы подбежали к первому столбу, прислонились с разных сторон и стали вслушиваться. Вначале я только смотрел на источенный короедом ствол и ничего не слышал, кроме монотонного гуденья, но постепенно заметил, что гудение меняется, становится то высоким, то низким. После каждого такого музыкального перехода, сестра выглядывала из-за столба и с серьезным видом шептала:

— Слышал, слышал?

Через некоторое время, когда у нас затекли руки и ноги, мы отошли от столбов и присели на насыпи. Я перебирал гальку, сестра пыталась воспроизвести мелодию, которую только что слышала; она пела знакомую песню, но мне казалось, я и на самом деле слышал ее.

— У этого столба я слушаю песни. Он песенник. Видишь открытый рот? — сестра кивнула на дупло. — А вон болтунишка, — она показала на второй столб, на котором сучки образовали смешную маску. — А за ним принцесса! Там вальсы!..

Сестра и меня сумела заразить своей выдумкой. До позднего вечера мы бегали от столба к столбу. Сестра чаще всего останавливалась около «принцессы», а я облюбывал себе корявый белесый ствол — точь-в-точь голова старика. Стоило только прильнуть к «деду», как в ушах раздавалось что-то наподобие марша; я отчетливо различал высокие звуки трубы, удары барабана; звуки постепенно усиливались, и я прямо глох от грохота и уже видел, как мимо меня, сверкая медью, вышагивает оркестр. Я пристраивался к ор-

кестрантам, вторил бравурным звукам... С того дня мне стало не до раковины, она померкла перед старым телеграфным столбом.

Сестра всегда была со странностями, которые делали ее и счастливой, и несчастной. Счастливой — потому что она жила в выдуманном интересном, как ей казалось, мире, а несчастной — потому что она не находила контакта с окружающей действительностью, никак не могла связать свой маленький мир с остальным огромным миром.

В школе до восьмого класса сестра была отличницей. После занятий ходила в районную библиотеку, читала Блока, Тургенева, Тютчева. Дома по радио слушала Рахманинова, Глинку, Чайковского, и... переносилась в прошлый век: носила длинные платья с рюшами и шляпы с лентами, музицировала, каталась в каретах, гуляла с подругами в парках под зонтами от солнца.

Девчонки считали ее воображалой, за незаземленность и замкнутость звали «цыпочка»; мальчишки были еще откровенней:

— Она чокнутая!

Чтобы оградить сестру от насмешек, мать часто посылала меня встречать ее из школы. Я должен был выполнять роль телохранителя, но по пути к дому сам не раз отчитывал сестру за «всякие закидоны». В то время поведение сестры мне казалось какой-то затянувшейся игрой, я всерьез думал, что она вполне может быть такой как все, просто не хочет. Где мне было понять, что есть невозможные вещи.

В восьмом классе сестра стала учиться хуже, и мать не раз вызывали в школу. Вначале говорили, что замечают у Нины какие-то отклонения от нормы, потом — что «ее странность переходит все границы»: на уроках рисует прин-

цесс, сама с собой разговаривает, ни с того ни сего смеется, «все делает не как все, ведет себя ненормально, постоянно оригинальничает».

— Она немного необычная девочка, — защищала мать Нину. — Впечатлительная, хрупкая, тонкая. Потом, знаете, переломный возраст.

Дома мать возмущалась:

— Что они говорят! Странная, странная! Вся жизнь странная! А кто сейчас не странный?!

Все чаще я заставал сестру у окна — она подолгу смотрела на железнодорожную колею и таинственно улыбалась, точно знала разгадки всех тайн мира.

А во сне она по-прежнему плакала. Иногда слышались только всхлипывания, а иногда нас будили горькие рыдания. Мать с отцом никак не могли понять, что ей видится по ночам, какие обиды переполняют ее маленькое сердце. В родителей вселялась смутная тревога за будущее дочери, в ее ночных плачах они видели определенное предзнаменование, отголоски уготовленной судьбы.

Как-то мы около часа звали сестру ужинать. Мать отыскала ее в палисаднике — она рвала цветы и пряталась за букеты, ее глаза то вспыхивали, то угасали как светляки.

— Что ты делаешь? — поинтересовалась мать.

— Прячусь от плохих людей! И почему они все как-то смотрят на меня? Иди, мамочка, сюда, спрячемся вместе, и нас никто не увидит!

Чтобы успокоить дочь, мать подыграла ей; присела и, смахивая слезы, зашептала:

— Да, да... Нас никто не увидит.

— О боже, какие люди неискренние, мамочка... Все играют в жизни и говорят неправду, но мне правду говорят сны.

В тот же день сестра сообщила мне, что «нельзя наступать на тени животных — они могут умереть».

Теперь-то странности сестры мне не кажутся странностями. Я даже подумываю — может быть, как раз такие, как она, нормальные, а мы все странные. Но тогда... Как-то сестра вполне осмысленно смотрит мне прямо в лицо и говорит тихо, еле шевеля губами:

— Посмотри, наша мебель на меня надвигается, — и прячется за дверь и съеживается.

Она и плакала-то не как все — без слез, только дергалась и всхлипывала.

В другой раз она сообщила, что «часы останавливаются, когда на них смотрю», потом ее хотел «клюнуть» кипящий чайник — она становилась все более незащищенной, потерянной. И постоянно нервничала: разговаривая со мной, все время дотрагивалась до моей руки — то ли снимала напряжение, то ли устанавливала контакт для большего взаимопонимания. Я отмахивался от сестры, считал, что ее слова — всего лишь нарочитое умничание, а поведение — дурацкая причуда, и покрикивал на нее, поучал, чем надо заниматься... только однажды заметил ее настоящую необычность.

Она часто выбегала в сад, собирала опавшие соцветия, танцевала среди деревьев или вставала на цыпочки и отчаянно махала руками, пытаясь взлететь. Иногда она подпрыгивала и каким-то странным образом ей удавалось зависнуть в воздухе. Я считал, что это происходит из-за ее невесомости. Но все-таки она всегда быстро опускалась, а в тот день я увидел, как она оторвалась от земли и — то ли мне померещилось, то ли на самом деле — некоторое время зигзагом, словно раненая птица, летела среди наших

вишневых деревьев, и ее голубые волосы развевались за ней, как водоросли по течению. От страха я закричал. Крик, точно выстрел, сразил сестру, и она упала. Когда я подбежал, она лежала около изгороди и тяжело дышала. Спутанные волосы падали на тревожные, испуганные глаза.

Помню точно — в раннем детстве она боялась высоты. Стоило нам с ней влезть на дерево, как она жаловалась, что «перед глазами плавают точки и голова стала тяжелой». Даже на крыше сарая ее тошнило. Она опасливо подходила к краю оврага, а мост перед общежитием перебежала закрыв глаза. С годами у нее прошла боязнь высоты. Она бесстрашно влезала на деревья и раскачивалась на гибких ветвях или вбегала на мост и, перегнувшись через перила, спокойно смотрела вниз.

В подростковом возрасте она вдруг полюбила бегать. Бегала по лугу, за нашими домами, быстро, легко и красиво, далеко выбрасывая ноги, широко раскинув руки и запрокинув голову. Она обгоняла всех девчонок и мальчишек в поселке и всегда, когда бежала, улыбалась. Бег доставлял ей радость. Видимо, там, среди сочного цветотравья, она вбирала в себя какую-то питательную, живительную силу.

Теперь, по прошествии многих лет, передо мной все чаще встает именно эта картина: сестра бежит по яркому лугу и стебли не мнутся под ее ногами — кажется, она просто скользит по травам и головкам цветов.

Однажды, когда мать была в командировке, отец пришел с работы раньше обычного, выпивши. Войдя в комнату, он заметил, что Нина, прислонив ухо к радиоприемнику, улыбается, хихикает и... разговаривает сама с собой. Отец быстро вышел на кухню — рот перекошен, в глазах страх.

— Иди посмотри, что с Ниной творится! Она совсем помешалась. Какие-то выдумки, бред... Давай отведем ее в больницу, надо показать ее врачам.

Сестра с радостной нервной поспешностью согласилась пойти в больницу; по дороге рассеянно и неопределенно улыбалась, чмокала губами, запутывалась в разнонаправленности своих мыслей.

— Я гуляла... встретила Татьяну Ларину. На ней было черное платье! Одежда ведь часть души женщины... У каждой вещи есть душа: у расчески, у чашки. О боже! Их нельзя обижать...

Мы пошли в Красные дома — «дурдом», как его называли.

Красные корпуса больницы стояли на высоком берегу Казанки. Мы часто видели «психов» в полосатых халатах — они окучивали рассаду капусты. Говорили, «психи» боятся воды и что в реке около «дурдома» постоянно находят утопленников. Ходили также слухи, что одна комната всегда пустует — комната Лобачевского, что она исписана формулами, над которыми до сих пор ломают голову математики. Таинственность и страх окружали Красные дома, мы старались не подходить к ним близко.

Врач-консультант задал сестре несколько вопросов:

— Как зовут? Сколько лет? Спишь плохо? Просыпаешься с трудом? Аппетит плохой?

Записав ответы, врач попросил подождать в приемной.

— И что он говорит со мной как с дурой? — удивилась сестра, когда мы сели на кожаный диван. — Что ж я, имя свое не помню, что ли?

— В самом деле, — шепнул мне отец. — Да и я плохо сплю и встаю с трудом... Как-то он не так с ней говорил. Мне

кажется, врач должен быть актером, незаметно, в задушевной беседе узнавать все, а не так трафаретно.

Из кабинета врача вышла медсестра и громко, на всю приемную, в которой находилось еще несколько посетительниц, обратилась к Нине:

— Больная, пойдем со мной в палату. А вы, — она кивнула отцу, — подождите, заберете ее вещи.

— Пап, как больная? — повернулась сестра к отцу. — Разве я больная?

Отец встал, взял сестру за руку:

— Иди, Нина, иди. Тебе дадут несколько таблеток, и все.

Когда медсестра с Ниной исчезли в коридоре, мы с отцом снова зашли к врачу.

— Простите, вы так и не сказали, что с моей дочерью. И потом... медсестра сразу заявила: больная! Девушка первый раз здесь, на нее все может это подействовать... Простите мое невежество, но, может быть, вы просто выпишите какие-нибудь таблетки?

— Это обывательский взгляд, — сказал врач. — Ваша дочь больна. У нее депрессия. Запущенная. Ее срочно надо лечить. Иначе будет поздно. И только в стационаре.

Через день мы с отцом навестили сестру, она плакала и просилась домой.

— Папочка, возьмите меня отсюда. Здесь так ужасно! Двери запирают, как в ловушке. И, говорят, отсюда никого не выпускают. Я боюсь.

— Нина! Тебе надо подлечиться. Через недельку-другую мы обязательно тебя возьмем. Я даю тебе слово.

— Ну я очень прошу тебя. О боже! Здесь настоящий ад! Полежал бы сам, тогда узнал бы.

— Первое время все бунтуют, — лениво заметила толстуха няня.

Больные в отделении сестры делали заколки для волос и раскрашивали сувениры из артели инвалидов. Нина, по ее словам, «рисовала яблоки на лошадаках».

Когда мать вернулась из командировки и узнала, что Нина в больнице, она начала глотать ртом воздух; потом нервно прошлась по комнате.

— О господи! Прямо земля уходит из-под ног!

Полчаса она курила одну папиросу за другой.

— Нину нужно оттуда немедленно забрать. Там она действительно может сойти с ума. Это окружение... Таких, как она, полно. Любого можно брать с улицы и лечить. В определенные моменты у каждого бывают заскоки... Да, война исковеркала нашу жизнь... Нину нужно оттуда забрать. Завтра же... И нужно перебраться в Москву, иначе все это кончится трагедией.

— Бесплезно, — вздохнул отец. — Меня с завода никто не отпустит, да и кому мы там нужны?

— Да плевать мне на твою работу! — почти крикнула мать. — Здоровье ребенка дороже... И почему мы не можем жить там, где родились!.. Господи! Неужели каждому отпущен лимит счастья и мы свой исчерпали? Нет! Я просто так не сдамся.

Мать под расписку забрала Нину из больницы, сходила в дирекцию завода, и ей пообещали устроить отцу перевод на работу в Подмосковье, но дальше обещания дело не пошло.

Вскоре мать нашла пианистку, жившую на окраине города, и договорилась с ней об уроках музыки для Нины.

Пианистка Галина Чигарина была одинокой эвакуированной ленинградкой, с доброжелательной улыбкой и мягким голосом. Она была некрасивой женщиной, но ходила

как королева, с балетной осанкой и никогда не смотрела по сторонам; за ней всегда тянулся шлейф резкого запаха духов.

Сестра сразу влюбилась в Чигарину, и прибежала домой радостная:

— Мамочка! Я узнала Галину Петровну в толпе по ее духам и по ее рукам! По ее необыкновенным рукам! Мы зашли к ней... Она такая тонкая, интеллигентная... и инструмент у нее живой. Когда Галина Петровна в хорошем настроении, он сам звучит, а когда не в духе, он прямо плачет.

Увлечшись музыкой, сестра потеряла интерес к занятиям в школе. В десятом классе у нее только по литературе и русскому оставались пятерки, по всем остальным предметам появились четверки и тройки. Все чаще на уроках у сестры болела голова. Дома она жаловалась:

— Мамочка, что со мной случилось? Я ничего не могу запомнить?

Врачи посоветовали временно оставить школу.

— Может быть, Нине пойти где-нибудь поработать? — предложила мать отцу. — Новые люди, новая обстановка немного встряхнут ее.

— Если только ненадолго, — согласился отец. — Нужно закончить школу. Не для того мы мучились, чтобы наши дети были без образования. Они должны учиться в институтах.

Мать устроила Нину на автобазу выписывать наряды, но вскоре сестра заявила, что «на работе все люди грубые и ругаются»; ее самочувствие резко ухудшилось, и снова пришлось обратиться к врачам.

А потом я ушел в армию и, демобилизовавшись, обосновался в Москве. В Казань заехал всего на несколько дней.

Помню, поезд прибыл поздно вечером, и к поселку я подошел в темноте. Иду, вдруг вижу: от фонаря к фонарю вышагивает сестра и... читает книгу, светлые пятна высвечивали ее зыбкий, уплывающий профиль. Как и раньше, над ее головой вились светляки, молчаливо кружили птицы; за ней плелись собаки и кошки — брели молча, понуро опустив головы, как маленькие стражники, ведомые какой-то непонятной привязанностью. Сестра стала уже девушкой: высокая, с округлившейся, почти женской фигурой. Я окликнул ее, она вздрогнула, потом улыбнулась, подошла и прижалась ко мне. Взгляд у нее был пугливый, болезненный, а улыбка — робкая, беззащитная.

В семье ничего не изменилось. Отец много работал и на заводе, и дома — по вечерам чертил за доской, подрабатывал на других предприятиях. Раза два-три в неделю отец заходил в пивную, и тогда дома случались скандалы. Мать время от времени устраивалась на отцовский завод чертежницей, но как только сестра чувствовала себя хуже, сразу брала расчет. Все было так же, как и прежде, только теперь сестра ежегодно несколько месяцев лежала в больнице.

Перевод отца в Подмоскowie затягивался, но мать не теряла надежды вернуться на родину: ходила в дирекцию завода, писала письма в министерство. И в конце концов добилась своего — отца перевели на один из заводов в Московской области.

Они поселились на станции Ашукинская, в часе езды на электричке от Москвы (купили половину бревенчатой избы). Мать выхлопотала сестре инвалидность второй группы как больной шизофренией и некоторое время сидела с ней дома. Я приезжал к ним в выходные дни.

В один из моих приездов мать сообщила, что «Нина стала агрессивной», и попросила помочь отвезти ее в больницу в Лотошино под Волоколамском.

Когда мы втроем ехали с Ярославского вокзала на Рижский, сестра впервые увидела метро и так развеселилась, что начала в вагоне смеяться и танцевать. Все пялили на нее глаза, кое-кто ухмылялся. А мне вдруг стало стыдно за мою сумасшедшую сестру; кажется, я даже отошел в сторону, дуралей. Никогда себе этого не прощу!

Мать устроилась проводницей на железную дорогу (устроилась по объявлению, где гарантировали в ближайшие годы жилплощадь в Москве); две недели бывала в поездках, неделю — дома; вернувшись из рейса, спешила в магазины, потом на волоколамскую электричку. Однажды зимой, когда мать работала, к сестре поехал я. Добирался долго: часа два на электричке, потом еще на попутных машинах; в Лотошино прибыл поздно вечером.

Сестра выглядела неважно: на лице одутловатость, взгляд отсутствующий, отдаленный, как будто смотрит на все через пыльное стекло. Она почти не слушала меня, морщилась от моих вопросов и без умолку говорила о болезнях, которые кто-то посылает на людей. Она протягивала мне пустую чашку и уговаривала пить «солнечный свет, потому что он оберегает от болезней»... Под конец сестра сказала, что видит в окне «много мертвых людей».

После свидания пожилая няня-сиделка, посмотрев расписание электропоездов, объявила, что на последнюю электричку я опоздал, предложила подремать до утра на диване в приемной и пошла ставить чайник.

За чаем няня рассказывала о своей работе ночной сиделки, о повышенном окладе и двойном отпуске...

— А сестренка-то твоя права, — неожиданно перевела разговор старушка. — Здесь вокруг полно было мертвых. Я ж и во время войны здесь работала. Когда немцы подошли, больные разбежались по лесу... Зимой в халатах и тапочках... прятались за деревьями... а немцы в них стреляли... И откуда твоя сестренка знает?! Ведь ей никто не говорил. А вот ведь видит их, мертвых-то! Вот тебе и больная! Наши врачи говорят: у них изменения там, в мозгу, происходят, а я вот тебе что скажу, хороший человек: у них не разум затуманился, а они все видят не так, как мы. Я здесь всяких больных повидала... Конечно, лежат у нас некоторые, которые спиртным увлекались или еще чем... У некоторых по старости ум за разум зашел... Есть и молодые тронутые. Переучились. Сейчас ведь учеба тяжелая, нагрузка-то какая! Разве ж выдержишь?! Но многие, скажу тебе, просто с чужинкой... Вот я все приглядываюсь к твое сестренке-то, душевная она девушка. Тихая, спокойная. Забирайте-ка вы ее домой, нечего ей здесь делать. Пускай себе живет, как хочет... У нас ведь лечат чем? Уколы да химия. А толку от этого лечения никакого. Надобно лечить внушением, заговором. Это ведь болезнь души, а у нас лечат тело...

Летом во время отпуска мать привезла сестру домой. Как-то в воскресенье всей семьей пошли отдохнуть на озеро, недалеко от поселка. Когда расположились на поляне, мать сказала:

— Знаете что?! Все будет прекрасно! Скоро я получу квартиру в Москве, в хороших условиях Нинуся почувствует себя лучше, наш глава семьи перестанет увлекаться спиртным... Все будет хорошо, все наладится, вот увидите!

В семье, где было слишком много переживаний, наверно, надо поддерживать иллюзии, делать вид, что веришь в

благополучный исход, но мать не самообманывалась, она на самом деле верила, что все устроится, она всегда была оптимисткой. Отец, наоборот, с каждым годом все больше терял уверенность в себе, все чаще выпивал. Он вообще не хотел уезжать из Казани — и потому что боялся всяких перемен, и потому что отработал на заводе больше двадцати лет и там у него остались друзья. Переехав в Подмосковье, отец так и не смог вжиться в новые условия, увлечься новой работой, обзавестись приятелями. А тут еще болезнь дочери и постоянное отсутствие матери... Отец издергался и окончательно подорвал здоровье. Через год после переезда он умер. Ему было всего сорок пять лет.

После смерти отца сестра снова начала заговариваться, и ее пришлось вернуть в больницу; на этот раз матери удалось положить ее в Абрамцево, поближе к дому. Вскоре мать перебралась в пригород Москвы — Ховрино, сняла комнату в частном деревянном доме и перевелась с поездов дальнего следования в кондукторы электричек.

В очередной отпуск мать купила старый кабинетный рояль «Шредер» — «чтобы Нинуся, наконец, занималась музыкой» — и привезла сестру из больницы. В первый день сестра с полчасика неуверенно перебирала клавиши, немного полистала «Самоучитель», но больше к инструменту не подходила — большую часть времени тускло смотрела в окно. Она прожила дома только неделю, потом убежала — захотела «покататься на метро».

Несколько дней сестру разыскивала городская милиция, но обнаружили ее на какой-то станции под Пушкино. Она ела землянику на платформе. Так и осталось загадкой, где она бродяжничала все те дни. С платформы дежурный милиционер отвел сестру в комнату допроса — ее приняли за

пьяную девицу легкого поведения — разговаривали грубо и толкнули в комнату, где находились задержанные карманники.

— Что ж вы делаете?! — сказал один из парней. — Она же больная, не видите, что ли?!

Мать уставала бороться с болезнью Нины. Когда я приехал, она начинала бичевать себя:

— Не знаю, может быть, я виновата, что Нинуся такая. Может, я окружала ее излишней нежностью, как ты думаешь? А потом она столкнулась с жестокостями жизни, и Нинуся, хрупкая, чувствительная девочка, сломалась... Нет, все-таки нет! Нинуся не парниковый цветок, мы с отцом ни тебе, ни ей не создавали тепличных условий. Все работали в огороде, ходили в магазины, носили воду... Нинуся всегда помогала мне... Здесь что-то другое... Может быть, это ее болезнь почек во время войны? А может, от условий жизни в Аметьево?.. Она тянулась к культуре, к другой жизни, а какая культура там, в Аметьево?.. Но я все делала, чтобы Нина не заболела. Сколько раз, заметив, что она уткнулась в радиоприемник, прогоняла ее во двор, на жизненный сквозняк... Пыталась увлечь ее спортом, ходила с ней на каток, просила молодых людей с ней покататься... Сколько раз говорила ей: «Я запрещаю тебе слушать музыку и плакать, и думать о всякой ерунде!». А она мне отвечала: «Мамочка, ты можешь мне запретить слушать, но думать-то ты мне не можешь запретить». Такая умная девочка! Это надо же так сказать!.. В то время я думала, что музыка уводит ее от реальности, но потом поняла — все-таки дело не в музыке... А психиатрам я не верю. Они просто приглушают состояние. Подавляют и волю, и эмоции... Но ничего! Все равно добьюсь квартиры. Мы будем жить в Москве. И я стану работать

по специальности, чертежницей. И Нинуся поправится, нужно только создать ей условия, окружить вниманием, заботой, у нее появится интерес к жизни, она вернется из своего нереального мира...

Прежде чем отвезти Нину в больницу, мать отвела ее в психоневрологический диспансер. Сестру признали инвалидом первой группы и назначили пенсию сорок рублей, при условии, что мать будет время от времени брать больную домой.

Пять лет мать отработала на железной дороге, но жилплощадь так и не получила. В конце концов она перешла работать в райсобес инспектором по назначению пенсий и, спустя два года, ей дали комнату в бывшем общежитии на окраине Москвы, около Волоколамского шоссе. Комната была маленькой и темной в многонаселенной квартире на первом этаже, где по дощатому полу бегали мыши, но мать была счастлива — после стольких мытарств очутилась на родине. Я посоветовал ей на первых порах скрывать от соседей существование больной дочери — для прописки такой больной требовалось разрешение жильцов, но мать возмутилась:

— Вот еще! И не подумаю! Я и комнату-то получила только для Нинуси, и живу только ради нее.

Купив подержанную мебель, мать взяла отпуск за свой счет и привезла Нину домой. Появление сумасшедшей соседки встретили неожиданно спокойно.

— Дочка-то у вас как цветочек, — сказала матери одна соседка.

— Красивая девушка, — подтвердила другая.

— Красивая! — хмыкнула мать. — Знаете что?! Лучше была бы какой угодно, только бы здоровой.

Мать купила Нине платье, туфли; днем они гуляли в парке, по вечерам ходили в кинотеатр, но с половины сеанса шли домой: у сестры начинала болеть голова. Вообще сестра чувствовала себя плохо, в ее воспаленном мозгу все реже появлялись проблески разума; она ходила по комнате в подавленном состоянии и все вокруг видела каким-то перевернутым.

Прожив дома две недели, сестра опять убежала. Снова мать заявила в милицию; объявили розыск, но нашли только через месяц. Где все это время была сестра, никто не знал. Стояла середина мая, земля еще не прогрелась, а сестра могла спокойно просидеть полдня на лужайке (с ее больными почками!). Весь тот месяц мать ложилась спать и думала: «А каково сейчас Нинусе?!».

Ее нашел дворник в Коломенском, на окраине Москвы. Ночью выбежал на крик, увидел — какие-то парни отбегают от женщины, подошел — девушка без платья, в одной туфле, вся трясется от страха.

— Небось хотели изнасиловать, — заявил дворник в милиции.

Нина ничего о себе не сказала, и ее, как «неопознанную», отправили в больницу на Матросской тишине. Мать каждый день обзванивала все больницы, обещали сообщить, если придут «неопознанные», но о сестре сообщили только через неделю:

— Привезли здесь одну больную, но вряд ли это ваша дочь.

Мать добилась разрешения перевезти Нину в городскую больницу Кашенко и стала к ней ездить не только по воскресеньям, но и в будние дни после работы. С московской пропиской мать поставили на учет в райжилотделе и, как

опекунше тяжелобольной дочери, обещали в течение трех лет предоставить отдельную квартиру.

Летом, во время отпуска, мать снова решила взять Нину. Я отговаривал ее:

— Тебе самой надо отдохнуть. Я постараюсь достать путевку на юг.

Мать и слушать об этом не хотела:

— Ни за что! Только мать-преступница может спокойно отдыхать, когда ее ребенок лежит в больнице.

— Пойми, это все бесполезно. Ну опять она убежит и еще может попасть под машину. А там, в больнице, у нее свой мир, свои подруги. Кащенко хорошая больница, там ей лучше, чем дома.

— Замолчи! Лучше! Тебя бы туда упечь на полгода, я посмотрела бы, как ты запел!

— И условий у тебя нет. Подожди, будет отдельная квартира, тогда я сам привезу Нину. И сам буду с ней ходить гулять, и найму няньку.

— Когда это будет?! А девочка уже столько времени в больницах...

— Год-два здесь ничего не решают.

— И слушать тебя не хочу! Возьму, и все.

— И перед соседями неудобно. Все-таки в квартире есть дети.

— Нинуся никому не мешает. Сидит у себя в комнате, а если и примет ванну, никого это не касается. Она здесь прописана и имеет на все такое же право, как и другие жильцы. Еще неизвестно, кто больше болен — она или та соседка, которая дерется с мужем каждый день.

Мать взяла Нину из больницы. Ей дали дочь под расписку и снабдили большим пакетом таблеток. Первое время,

как обычно, мать с Ниной вместе ходили в магазин, готовили обед, гуляли. Иногда сестра играла на рояле, пыталась вспомнить пьесы, которые когда-то разучивала с Чигариной, или рисовала принцесс и клеила бумажные замки...

Как инвалиду, Нине полагался телефон, и вскоре в квартире установили аппарат. Когда соседи уходили на работу, сестра выходила в коридор, снимала телефонную трубку и тихо спрашивала:

— Это магазин? Суфле есть?

Кстати, в то время у меня не было телефона и приятелям я давал телефон матери. Случалось, при встречах кто-нибудь из них говорил:

— Звонил тебе, а там кто-то несет околесицу.

— Не туда попал, — объяснял я и спешил перевести разговор. Я уже знал по опыту: стоит людям сказать, что в твоей семье есть сумасшедшая, как от них не отвяжешься — замучают вопросами да еще к тебе начнут пристально приглядываться, выискивая отклонения, вызванные родственными связями с больной. Подобный крест следует нести тайно. О сестре знали только близкие друзья.

Через две недели сестра почувствовала себя хуже, у нее появились головные боли, она уже ничем подолгу не занималась — уставала; через каждый час ложилась отдыхать и, если засыпала, как и раньше, во сне плакала. Ночью она тоже спала урывками: немного подремлет, сядет на кровати, уставится в одну точку или встанет и начнет ходить по комнате и что-то бормотать. Мать все время была в напряжении — постоянно не высыпалась. Еще через несколько дней сестра начала нервничать и раздражаться, что мать не отпускает ее одну на улицу. Как-то сказала матери:

— Сегодня я видела плохой сон — у нас пропало красивое одеяло. Ищем его, ищем — нигде нет.

На следующее утро сестра исчезла. Мать пошла в магазин, заперев дверь комнаты на ключ. Пришла, а Нины нет. И дверь, и окно оставались закрытыми. Это уже было что-то запредельное. Мать позвонила мне на работу, я примчался на такси и, осмотрев комнату, пришел к выводу, что сестра могла вылезти только через окно (благо первый этаж), но зачем ей понадобилось снова закрывать раму и каким образом она это сделала, оставалось загадкой. Конечно, она могла защелкнуть шпингалет через форточку, но в это не верилось — она всегда была слишком откровенной для подобных хитростей. Оставалось полагаться на случайность: порыв ветра или хлопанье парадной двери.

Несколько часов я искал сестру по окрестностям, выспрашивал о ней у прохожих, но никто ее не встречал, только две школьницы видели «странную тетеньку с синими волосами».

Беглянку обнаружили ночью на шоссе, она шла «на станцию Правда, где красивые деревья». К счастью, сестра вспомнила имена своих врачей, и ее быстро водворили в больницу.

Мать была в отчаянии.

— Ничего у меня не получается, — с горечью сказала мне. — Уже столько лет Нинуся в больницах. Лучшие годы. Так и не стала она пианисткой, не искупалась в море, не испытала любви... Так и осталась старой девой, прекрасной старой девой с нерастраченными, заглохшими чувствами. И главное, я для нее всегда была опорой, она думала, что я все могу, и вот, оказывается... я бессильна. Может, мне устроиться в больницу санитаркой, чтобы быть рядом с

ней?.. И куда она убегает? Наверно, в прошлый век, в тургеневские времена...

Я уже почти не верил, что сестру можно вернуть из ее таинственного мира.

— Неужели ты не понимаешь, что Нина невменяема?! Пойми, есть неизлечимые болезни, непоправимое. Нина не контролирует свои поступки, не соображает, что делает. Она может натворить что угодно.

— Не убивай мою мечту! — взмолилась мать. — Десять лет я не теряю надежды поставить ее на ноги... И учти: после моей смерти к Нинусе будешь ходить ты. Так и знай! Это твой долг. У тебя должно быть чувство долга...

Отдельную квартиру мать получила только через шесть лет, когда вышла на пенсию. Все эти годы каждое воскресенье она ездила к Нине (я навещал сестру, только когда мать болела); всю рабочую неделю копила продукты: закупала фрукты, конфитюры; кто бы чем ни угостил, сама не ела — все несла в больницу. Как всегда, в отпуск мать привозила Нину домой, но при первых же признаках обострения болезни сразу вызывала «неотложку» — боялась, что сестра убежит снова. Получив квартиру, мать заявила мне, что уже никогда не отвезет Нину в больницу, что бы ни случилось.

Квартира была прекрасной: на четвертом этаже, с балконом, окна выходили на юг, и с утра до вечера комнату и кухню затопляло солнце. С балкона открывался вид на запущенный сад с фруктовыми деревьями, за которыми виднелось Ленинградское шоссе, а еще дальше блестела гладь реки.

Мы с матерью привезли Нину в конце мая, когда уже установилась теплая погода. Выглядела сестра плохо: от постоянной неподвижности стала полной и рыхлой, ее про-

зрачные глаза помутнели, она на все смотрела отстраненно, как на что-то далекое и нереальное, ее голубые волосы превратились в белесые и выпадали прямо на глазах. Сестра была вялой, апатичной; прошла по комнате, заглянула в ванную, потрогала полотенце, вышла на балкон, безразлично осмотрела сад, вернулась в комнату, уселась на тахту и замерла, уставившись на обои.

Обедала она нехотя, все время вздыхала и разговаривала с какими-то невидимыми собеседниками, а после обеда неожиданно отошла в угол, насупилась и стала исподлобья посматривать в сторону матери.

— В чем дело? — спросил я ее. — Почему ты злишься на маму? Посмотри, она купила тебе новое платье, приготовила вкусный обед. Посмотри, какая у мамы светлая уютная квартирка, разве тебе не нравится здесь?

— Это не моя мама, — недовольно пробормотала сестра. — Моя мама красивая... И батареи здесь холодные. Тепло забирают соседи, а она молчит, — Нина кивнула на мать, — ничего им не говорит.

— Сейчас ведь весна, видишь — все цветет, уже тепло, и не надо топить.

Я попытался хотя бы немного пробудить разум сестры, но сразу понял, что мои слова до нее не доходят, что она все видит по-своему.

— Никакая не весна, а зима. Вон падают разноцветные снежинки. Они похожи на звездочки и колесики от часов. Ты не видишь, а я вижу. Но музыку-то ты слышишь? Это ведь зимняя музыка. Снегурочки.

«Все бесполезно, — решил я. — Здесь ее ничто не интересуется. Она погружена в другой мир, уже привыкла к другой жизни, ее дом там, в больнице».

— Пожалуй, лучше ей здесь не будет, — сказал я матери.

— Будет. Это у нее временное помрачение. Оно пройдет. И потом, чья эта квартира? Благодаря кому я получила ее? Благодаря кому имею все удобства, телефон? Это Нинусина квартира, теперь она будет здесь жить всегда.

...Я звонил им ежедневно. Случалось, к телефону подходила сестра, и тогда в трубке слышалось невнятное бормотание и вздохи, потом раздавался голос матери:

— У нас все хорошо. Нинуся немного нервничает, но это у нее пройдет. И представляешь, у нее прямо дар провидицы! Вчера мне говорит: «Я видела во сне мертвых собак». И что ты думаешь?! Сегодня утром около наших домов отлавливали бездомных дворняжек. Мы с Нинусей вышли, пригрозили собаководам милицией, и они уехали. Но двух собак все же увезли, негодяи...

Но однажды поздно вечером мать позвонила сама:

— Приезжай! Нинуся хочет убежать!

Когда я подъехал к дому, Нина в одной ночной рубашке перебежала Ленинградское шоссе, не глядя по сторонам, размахивая руками, еле касаясь земли. Машины резко тормозили, шарахались к обочине. За сестрой семенила мать, громко стонала и кричала:

— Нинуся, вернись!

Перебежав шоссе, сестра повернула к реке. Я догнал ее у самой воды. Она была невменяемой: глаза вытаращены, рот открыт, дышит тяжело, хриловато. Я схватил ее за руки, она начала вырываться, вцепилась зубами в мой локоть. Я знал, что в минуты безумства такие больные становятся очень сильными и нужно действовать решительно. Крепко схватил сестру за плечо и потрянул, но это не помогло, она продолжала кусать мою руку. И тогда я ударил ее по щеке.

Она даже не поморщилась от боли, но сразу обмякла.

— Поедем в больницу! — громко сказал я. — Слышишь, что я говорю?! Поедем в больницу!

— Поедем... в больницу, — сдалась сестра, в уголке ее рта показалась тонкая струйка крови.

Двое таксистов наотрез отказались везти сумасшедшую. Третий за двойную плату согласился. В машине, успокоившись, сестра стиснула мою руку и зашептала:

— Ты знаешь, в моем созвездии упала звезда... наверное, я скоро умру.

— Нина безвольная, вся в отца, — сказала мать, когда я вернулся из больницы. — А если человек сам не хочет поправиться, ему никто не поможет.

Больше года мать не брала Нину. Чтобы отвлечься, не думать все время о ней, вначале записалась в библиотеку, набрала книг, потом завела собаку, устроилась киоскером в соседний газетный киоск. Но с наступлением лета опять все чаще стала ругать себя за то, что слишком быстро сдалась, что жизнь без дочери для нее теряет всякий смысл...

В июле, когда приближался день рождения сестры, мать объявила мне, что снова привезет Нину домой. Накануне, втайне от матери, я съездил в больницу и попросил врачей не отдавать сестру.

— Нам трудно что-либо сделать, — сказали врачи. — Ваша мать требует больную, и все. И пишет расписку. Мы не имеем права не отдавать.

— Но вы же знаете, это рано или поздно плохо кончится. Сколько ее ни брали, она убегает. К тому же сестра действует на мать, та тоже начинает нервничать, не спит, много курит, пьет настойки от сердца...

— Да, это мы знаем. Но что мы можем сделать?

— Не давать, и все. Придумайте что-нибудь. Например, что сейчас сестра ходит работать в мастерские, чувствует себя хорошо и не стоит ломать ее режим. Или наоборот, что чувствует себя плохо... Я не знаю, вы же врачи. Очень вас прошу, ни в коем случае не отдавайте сестру.

— Хорошо, постараемся.

И все же отдали.

И произошло чудо. Я это понял, еще подходя к дому матери; сестра увидела меня с балкона, крикнула:

— Привет! — радостно замахала руками и выбежала с собакой из подъезда мне навстречу.

Похудевшая, в белом платье и белых тапочках, она обняла меня, поцеловала в щеку, взяла под руку.

— Как хорошо, что ты приехал! — воскликнула ликующим голосом. — Я вспомнила все пьесы, которые играла с Галиной Петровной, сейчас тебе поиграю...

Ее глаза посветлели и снова приобрели зеленоватый блеск, и волосы поголубели и вновь стали такими же красивыми, как когда-то!.. Она шла со мной к дому, раскачивалась в такт шагами и без умолку рассказывала, что они с матерью читали и смотрели по телевизору... — говорила осмысленные, здравые вещи!.. Я был ошеломлен! Это было какое-то возвращение из прошлого, воспоминание забытого языка... Что произошло? Неужели вот так, сама по себе, она смогла вырваться из призрачного, исковерканного мира, преодолеть огромное пространство, которое отделяет реальность от фантазий?!

Она вошла в комнату; пританцовывая, подошла к роялю, села за инструмент и блестяще сыграла несколько пьес. Улыбка не сходила с ее лица, все ее движения были легкими, раскованными. Мать смеялась и пела от счастья.

— Я же говорила! Я же говорила, она поправится! — шептала мне на кухне. — Не может человек не поправиться, если его окружают забота и любовь.

Потом мы пили чай. За столом сестра, как изголодавшаяся зверюшка, уплетала все подряд, жмурилась от удовольствия и торопливо рассказывала про врачей и приятельниц в больнице, про мастерские, в которых они делали бумажные цветы и коробки; при этом, она даже подтрунивала над собой и будто смотрела на себя со стороны, смущено краснела, как бы извиняясь за свою болезнь, за столь долгое отсутствие, за то, что доставила нам с матерью столько страданий.

После чая сестра потащила нас на прогулку. День был замечательный: солнечный, яркий. Истосковавшая по свободе, сестра прыгала по саду и радовалась каждому цветку, каждой бабочке и пчеле — казалось, она заново открывает мир. Она не умолкала ни на минуту.

— ...Вы помните, такие же деревья были на станции Правда? А ручей, который журчал на перекате, вы помните? А те цветы, неужели вы не помните? Какими нелепыми, мертвыми выглядят наши бумажные цветы в сравнении с этими живыми, ведь правда?! И для чего их только делают?!

Она спешила выговориться: то ли наверстывала упущенное из-за многолетней замкнутости, то ли боялась не удержаться в этом мире. Ни мать, ни я не поняли, что произошло, не догадывались, что это озарение неспроста, и только пес все время забегал вперед, усаживался перед сестрой, настороженно смотрел в ее глаза и жалобно поскуливал.

Я уехал на работу в невероятно приподнятом настроении, сразу же обзвонил друзей и поделился событием.

Прошло всего два часа, не больше. И вдруг раздался резкий телефонный звонок. Я снял трубку и услышал сдавленные рыдания матери:

— Приезжай скорей!..

Когда я открыл дверь, мать кинулась ко мне, и из ее груди вырвался вопль:

— Нинуся!.. Выбросилась!..

Еще из комнаты я увидел у балконной решетки одиноко лежащие тапочки, и боль пронзила меня. Я метнулся к балкону. Внизу, на земле, босая, в белом платье, лежала моя сестра; лежала, распластав руки, и неподвижно смотрела в небо. Вокруг нее прямо на моих глазах увядали цветы, как похоронный венок обрамляя безжизненное тело. К сестре изо всех подворотен, задрав морды и воя, ползли собаки и кошки, и над всем садом, истошно крича, кружили птицы.

## **МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ, ОБДУВАЕМЫЙ СО ВСЕХ СТОРОН ВЕТРАМИ**

Они занимали две светлые комнаты в одноэтажном, давно нуждавшемся в ремонте, особняке. Дряхлое, полуразрушенное, испещренное трещинами строение с расшатанными дверями и щелистыми ступенями, находилось посреди парка, недалеко от станции метро «Динамо» — в нем было что-то монастырское; к нему со всех сторон вели запущенные аллеи, по которым, точно в аэродинамических трубах, постоянно тянул ветер и особняк с прилегающими дворовыми постройками выглядел неким островом посреди шумящего зеленого массива, замкнутой сферой, изолированной от внешнего мира.

После смерти матери, сестры остались вдвоем — их отец, инженер железнодорожник, подолгу бывал в командировках. Основные функции домохозяйки и «идейного вождя» взяла на себя младшая из сестер — Наташа, двадцатитрехлетняя студентка Строгановки, непоседливая, свободолюбивая «дородная Матрена», как ее звали сокурсники за увлечение народным творчеством и цветастые сарафаны, которые Наташа носила.

Вера была старше на пять лет, но рядом с сестрой выглядела хрупким, беспомощным созданием, которое на все смотрит широко распахнутыми глазами, словно видит впервые, будто она и не взрослая женщина и нет у нее никакого житейского опыта.

— Наша Веруня задержалась в переходном возрасте, — с усмешкой говорила Наташа. — Еще не наигралась в куклы. Ирония судьбы!

Собственно, так оно и было. Мать воспитывала Веру в пуританской строгости, в школе ее прозвали «излишне при-

лежной», «заучившейся отличницей»; на филфаке вначале сторонились, как чрезмерно замкнутой, «некоммуникабельной» особы, затем попросту исключили из общего течения студенческой жизни; так и развилась внутренняя скованность, выработался комплекс неполноценности, что-то надломилось в ней. Она и на работе слыла «белой вороной», «феей дурнушкой», которая еще окончательно не спустилась на землю, только нащупывает точки опоры. И внешне она выглядела подростком — маленькая, бледная, худая, плоскогрудая. Я сразу представил ее чахлым цветком, который долго выращивали под колпаком и лишь недавно высадили в грунт, потому он и не набрал хлорофилла.

Она была полной противоположностью мне, уверенному в себе «закоренелому холостяку», и может быть именно поэтому, я решил стать кем-то вроде ее опекуна; мне вдруг захотелось «заземлить» ее, беззащитную, помочь ей ориентироваться в хитросплетениях окружающего мира. Как всякий эгоист, я не собирался привязываться — уже привык к легким, непродолжительным, ни к чему не обязывающим встречам, и вообще, главным для себя считал работу и выпивки с друзьями, а романтические увлечения рассматривал всего лишь, как украшение холостяцкой жизни. То, что она станет моей любовницей и беспрекословно подчинится, я понял сразу и заранее predetermined, что наши отношения будут без всяких заигрываний и тяжеловесности.

Когда я появлялся в их редакции, она смотрела на меня неотрывно и серьезно, внимала каждому моему слову — так смотрит собачонка на своего хозяина, ожидая приказаний. Она работала секретаршей в радиокомитете, а я изредка приносил туда сценарии радиопостановок — это был

мой побочный заработок, а основной — корреспондентский в газете.

Я долго откладывал роман с ней, но однажды как-то само собой получилось, мы вместе вышли из редакции и, разболтавшись, я не заметил, как мы доехали до «Динамо». В «зоне ветров», как я сразу нарек тот район, она прикоснулась к моему локтю и вызвалась «угостить чаем с вареньем и познакомиться с сестрой», причем произнесла эти слова с невероятной осторожностью.

В их коридоре пронзительно скрипели половицы и рамы, трещали потолочные балки, но в комнатах было тихо, только в окна хлестали ветви, терзаемые ветром. Их комнаты были обставлены скромной мебелью, а стены сплошь завешаны Наташиными работами: натюрмортами с деревенскими поделками, портретами розовощеких доярок; меж картин виднелись пришпиленные пучки лекарственных трав, а в углу одной из комнат — маленькая икона.

С Наташей, несмотря на разницу в возрасте, у меня оказалось много общего и с первого вечера мы стали друзьями.

— Веруне давно надо было завести кавалера, — весело заявила Наташа и с невероятной откровенностью пояснила: — Она совсем одичала. От этого у нее и нервишки того. Пьет разные настойки, все комнаты пропахли ее аптечными травами.

— Не говори глупостей! — покраснела Вера и стала нервно заставлять стол чашками и розетками для варенья. Она и дома выглядела зажатой, правда в меньшей степени, чем на работе.

— А я смотрю на мужчин, как на деревья, — продолжала Наташа. — И не терплю всяких шушуканий подруг о «больших женских тайнах».

— Ты феминистка, — уточнил я.

— Ага. Для женщины-личности семья — страшная обуза. В семейных заботах глохнут все таланты. Разве я написала бы это, будь у меня муж, объелся груш, — Наташа обвела рукой стены. — Целыми днями шастала бы по магазинам и не отходила бы от плиты. Сейчас и то трачу на это многовато времени. Ведь Веруню куда ни пошли — купит не то, или вовсе деньги потеряет.

— Кем ты меняставляешь? — обиженно проговорила Вера. — Не такая уж я идиотка, как ты думаешь.

— Спокойней барышни, — я поднял руку. — Все это мелочи. Женщина должна все совмещать: быть и домработницей, и матерью, и личностью...

— Ну да, и всячески ублажать мужа, и отлично выглядеть при этом, — усмехнулась Наташа. — И быть в курсе всего мирового, чтоб не прослыть дурой. Это на диком Западе возможно, а не у нас... И потом, какие все мужчины эгоисты: женщина должна это, должна то. А что должен мужчина? Только деньги приносить, да листать газету? Ох, уж эти наши домостроевские семьи! Ирония судьбы! А с вами все ясно. Веруня, будь начеку, это опасный мужчина, остерегайся его, он вскружит тебе голову, — она нарочито грозно прищурилась и погрозила мне пальцем. — Между женщиной и женщиной при знакомстве идет война, и не вступай в нее, не будучи уверена в победе. Впрочем, такие безвольные, как Веруня, и хотят, чтоб их победили.

— Не слушайте ее, — быстрым шепотом сказала Вера, когда Наташа вышла на кухню. — Она взбалмошная, правда добрая. Погорячится и быстро отходит.

— Ну, ладно, люди, давайте пить чай, — Наташа вернулась с большим и маленьким чайниками в руках и обратилась ко мне: — Вам покрепче или не очень?

— Покрепче.

— Я так и думала, это уж само собой разумеется.

— Почему ты так думала? — одновременно спросили мы с Верой и рассмеялись.

Вера тут же ухватила за черное пятно на сарафане сестры — на ее лице затеплилась робкая улыбка:

— Когда мое желание сбудется?

— Сегодня! — Наташа состроила страшную гримасу. — А угадать кто какой пьет чай — проще простого. Здоровяки, вроде вас, и сильные женщины, вроде меня, пьют крепкий и горячий, а разные мотыльки, вроде Веруни, — чуть подкрашенную прохладную водицу. Ирония судьбы!

— Что ты все из меня делаешь неизвестно кого?! — вспыхнула Вера. — Я тоже сильная. Не слушайте ее. Я сильная, выносливая и...

— О, да! — пропела Вера.

— Наталья, ты явно недооцениваешь сестру, — с наигранным негодованием заметил я. — Уверен, твоя сестра обладает недюжинной силой. Силой духа. Просто эта сила дремлет до поры до времени, правда Вера?

— Вот именно, — Вера благодарно кивнула мне.

В таком полушутливом тоне и началось чаепитие. Прихлебывая чай, Наташа без умолку рассказывала: вначале о своем преподавателе, который приезжает в училище с термосом и деликатесными бутербродами и, пока студенты рисуют, постоянно жует и пьет, и у студентов бегут слюни; однажды он угостил ее бутербродом с семгой и налил из термоса... пиво. Потом рассказала о практике на Кавказе,

где «с гор того и гляди упадет булыжник, где сумасшедшие реки, и растительность в шипах и колючках, а люди чрезмерно громогласные, суетливые, помешаны на деньгах — сплошная погоня за деньгами, да еще культ еды».

— ...Повсюду едят жирное мясо, чавкают фрукты, выплевывают косточки — противно! — морщилась Наташа. — Наш автобус все время сопровождали местные черноволосые парни в своих машинах. Приставали — жутко! Раз перепутали — поехали за другим автобусом. Я облегченно вздохнула, а девчонки приуныли — привыкли к эскорту...

Я видел в Наташе восторженную, общительную натуру, готовую вместить в себя весь мир, и, посматривая на Веру, многозначительно кивал ей, как бы говоря: «И вам, барышня, не мешало б быть такой жизнелюбкой». В ответ Вера поджимала губы: «Да, Наташа такая, а я другая». Про себя Вера, наверняка, догадывалась — сестра нарочно их развлекает, играет роль посредника, чтобы не ставить ее, Веру, в неловкое положение, а гостю дать возможность освоиться, почувствовать себя в непринужденной обстановке.

— Ничего нет лучше среднерусской полосы, — говорила Наташа. — Наши уютные деревни, дома с резьбой, разноцветные стада коров на лугах, мягкая листва — во всем спокойствие.

— Я на Кавказ вообще никогда не поеду, — откликнулась Вера. — Там страшно. Кавказцы настоящие дикари... В деревне неплохо, но много невежества. И во дворах грязно и дома какие-то неприбранные.

— Она мечтает жить в Исландии, на острове, — пояснила мне Наташа.

— Прекрасная мечта, — я развел ладони. — Когда, Вера, туда поедете, возьмите меня с собой, я буду рулевым на вашей яхте. Ведь у вас там будет яхта?

Вера покачала головой и с уморительной серьезностью заявила:

— Мне не нужна яхта. И машина не нужна.

— Тогда я буду вашим телохранителем. Так что, если понадобится моя помощь, обращайтесь, не стесняйтесь.

— Вот скажите, — Вера оживилась, даже чуть привстала. — Почему там дома аккуратные, ухоженные? И отношения между людьми совсем другие. Я читала новеллы исландских писателей, видела документальный фильм... Там маленькие чистые поселки, строгая природа, люди вежливые, воспитанные, простые труженики...

— Сейчас допьем чай и поедем туда, — вздохнул я.

— Там острова насквозь продуваются ветрами, как наш особняк, — со знанием дела заявила Наташа. — Тебя, Веруна, там сдует в море... Нет, в наших деревнях спокойней. И люди колоритные и естественные. А какие песни с прибаутками! А промыслы — непрофессиональное рукотворное искусство! Наивное, домашнее, досуговое! У деревенских людей руки добрые, потому и в изделиях чувствуется тепло их рук... В одной деревне на Вологодщине — смешно! Если умрет какой старик, все приходят поздравлять — отмучился мол. А старуха может проворчать: «Не во время отдал Богу душу. Сено как раз поспело, убирать надо»...

— Отлично! — я засмеялся, а Вера поежилась:

— Наташа, расскажи что-нибудь светлое.

— А это светлое, — хмыкнула Наташа. — Там вообще к смерти относятся буднично, без трагизма. Кто-то утонул,

кто-то много выпил и сердце остановилось. Потому и детей имеют помногу, чтоб кто-то оставался. Ирония судьбы!..

Вера не выдержала и вышла на кухню; в проем двери я видел, как она доставала из шкафа новую банку варенья.

Наташа наклонилась ко мне.

— Сестра у меня — блеск! Непонятая, неоцененная, чистая душа. А святых людей обижать нельзя. Учтите, я ее в обиду не дам, — она направила на меня палец и, изображая в руках пистолет, «бахнула», а завидев входящую сестру, снова откинулась: — Ну что, люди, новое варенье опробуем? И «телек» посмотрим, — она встала и включила телевизор.

Вера положила мне полную розетку варенья.

— Попробуйте, это вкуснее. Клубничное. Наташа сама варила. Она умелица, вот только все время грубит мне.

Теперь уже я «бахнул» в Наташу и Вера, довольная, засмеялась, но и смех ее был какой-то грустный, как бы с трещинкой.

— Тебя и надо подстегивать, а то на ходу уснешь, — откликнулась Наташа, настраивая телевизор. — Вот эстрадный концерт. Оставим, под чай с вареньем сойдет?

— Ой, выключи его, ради бога! — взмолилась Вера.

— Да, пусть Вера, тихо создают нам музыкальный фон, — в форме легкого приказа сказал я.

— Вообще-то я не люблю нашу эстраду, — Наташа вернулась за стол. — То ли дело народный хор! Сладкозвучная музыка, нежная. В ней слышится простор. А если еще с гусями, колокольцами — сказка!

— И я не люблю нашу эстраду, — совсем как девчонка, надула губы Вера. — Глупые, пошлые песенки. Наташа, поставь лучше пластинку Чайковского. Вы любите классиче-

скую музыку? — Вера бросила на меня вопросительный взгляд.

— Люблю, но плохо знаю.

— Давайте в воскресенье пойдём в консерваторию? — Вера так и впилась в меня и замерла в ожидании ответа. — Кажется, там концерт Гайдна.

— Можно сходить, — без особого энтузиазма протянул я. — Но лучше мы придумаем что-нибудь пожизненней; например, устроим вылазку на природу. Не в Исландию, поближе — на дачу к моему приятелю музыканту.

Вера смиренно потупилась.

— Ну, ладно, люди! — Наташа встала. — Мне завтра рано вставать, пойду спать, но учтите, буду за вами поглядывать, чтоб вы не целовались. Отец приедет, все ему расскажу...

Напевая что-то про иронию судьбы, она вышла из комнаты и плотно прикрыла дверь, но тут же снова выглянула и дала сестре последнее указание:

— На ночь к иконе не подходи, не молись! Религия чепуха, потому что внушает терпение во имя загробной жизни. Ничего нельзя терпеть...

— Замолчи! — Вера чуть не запустила в нее чайную ложку.

Стояло лето, время повальных отпусков; улицы даже в центре заметно поредели, а аллеи в парке на «Динамо» вообще были пустынные; по ним бесшумно скользил ветер. После работы мы с Верой встречались у метро, прогуливались по аллеям, разглядывали деревья и птиц, присаживались на скамью в потаённом месте напротив особняка, я закуривал, обнимал Веру и рассказывал какую-нибудь историю из своей бурной жизни — что-нибудь смешное, чтобы расшевелить «замороженную спутницу», как окрестил ее про себя. Доверчиво прильнув ко мне, Вера внимательно

слушала; то вскидывала на меня широко раскрытые глаза и прямо-таки впитывала все, что я говорил, то опускала голову, волосы почти закрывали ее лицо, я только видел смутную улыбку.

— У вас такая интересная жизнь, — произносила она слабым голосом. — А со мной никогда ничего интересного не происходит.

— Как это не происходит? — я прижимал ее к себе. — Ну-ка, припомни что-нибудь интересное, — чувствуя себя хозяином положения, я уже на вторую встречу перешел на «ты».

Вера называла меня на «вы» все время пока мы встречались, даже после того, как наши отношения перешли все границы.

Что она могла рассказать, если считала свою жизнь совершенно обыденной и скучной, если мечтала об Исландии? И как рассказывать по заданию, когда внутри — ожидание, предчувствие значительной, многообещающей жизни с женщиной, который властно ворвался в ее жизнь?

— С мамой все было по-другому, — вздыхала Вера. — Мы с ней ходили в консерваторию и в зал Чайковского... Мама тяжело болела и последние годы не вставала с постели. Много читала. Книги по астрономии и религии. К нам приходила ее сестра, моя тетка. Они с мамой договорились, кто раньше умрет, даст знать, есть ли жизнь на том свете. Недавно тетка позвонила, сказала — видела маму во сне, она говорила: «Не спеши сюда, здесь гораздо хуже, чем на земле. Здесь много наших родных и знакомых, и все хотели бы вернуться на землю, но Бог редко кого отпускает... в виде привидений»...

— Бесспорно, здесь лучше, чем на небесах, — усмехался я. — Думаю, и ты в этом уверена.

— Да, — Вера утыкалась носом в мою шею, легко обнимала меня.

Даже в тихие летние дни слабое дуновение вокруг особняка с наступлением темноты переходило в порывистый ветер, потому в парке мы долго не засиживались и направлялись «пить чай». Наташа встречала меня по-приятельски, и как только сестра уходила в другую комнату, заговорщически шептала:

— Она совсем потеряла голову. Ирония судьбы! Пересказывает мне сны... Как же надо влюбиться, чтобы думать о вас даже во сне?! Все-таки любовь — это одурение. Но вы, хочется думать, окажете на сестру благотворное влияние.

Выпив чашку чая и рассказав что-нибудь о Вологодщине, где «люди сделали ставку на оптимизм», Наташа надевала яркий сарафан, перекидывала через плечо плетеную сумку.

— Люди! Я собралась по грибы. Шутка! Пошла в кино. Договорились с подружкой. Смотрите, не целуйтесь, — она подмигивала мне и, напевая про иронию судьбы, сбегала по ступеням.

В первый же ее уход, я взял Веру за руку и потащил в постель.

Она испуганно замотала головой, но сопротивлялась слабо, и пока я ее раздевал, стояла, подрагивая, стыдливо прикрывала грудь руками, и едва слышно бормотала:

— Господи! Зачем вы это делаете, ведь мы совсем не знаем друг друга?!

Потом, когда я курил и поглаживал ее голову, лежащую на моем плече, она прошептала:

— Господи! Я делаю огромную глупость. Веду себя как шлюха.

— Женщина и должна быть в постели шлюхой, — грубовато заметил я. — В семье — святошей, в компании — королевой. Так говорил кто-то из классиков.

— Наверно, я ненормальная женщина.

— Вполне нормальная, и я сделаю тебя еще нормальной, — самоуверенно заявил я и добавил приказным тоном. — В воскресенье поедem на дачу к приятелю музыканту, там река, захвати купальник, отдохнем как следует, давно мечтаю подремать в гамаке на свежем воздухе.

За городом она, наконец, повеселела, взяла меня под руку и порывисто проговорила:

— Надо же, мы дышим одним воздухом, над нами одно небо и облака... Я сегодня такая счастливая! Прямо хочется писать на заборах, сараях: «Самый счастливый день!» — потом вдруг загрустила и неуверенно вполголоса произнесла: — Но, по-моему, быть счастливой стыдно... Может быть и нельзя, потому что вокруг много несчастья. Как вспомню больных... Я два раза была в больнице... почки болели...

— Ну да, в непогоду думать о бездомных, когда наешься — о голодных, — небрежно вставил я, все больше входя в роль супермена, а про себя подумал: «все-таки в ее душе много ценного; ведь чем чувствительней человек, тем больше охватывает его взгляд, тем ближе принимает чужую боль, тем сильнее его мучения и тревоги. А ограниченный человек живет в ограниченном мире и потому страдает по пустякам и счастлив от ерунды».

На даче, увидев моего приятеля с подружкой, Вера сникла еще больше, похоже — испугалась новых людей. Как я ни пытался ее «расшевелить», ни на реке, куда ходили купаться, ни на террасе, где позднее пили вино и слушали джазовые пластинки, она так и не воспрянула. Приятель

непрестанно шутил, подпевал «звездам», его подружка беззаботно, заразительно смеялась, а Вера только тускло улыбалась и вежливо отвечала, когда ее спрашивали. Она явно чувствовала себя стесненно, словно между ней и веселыми дачниками стоит непреодолимая преграда.

«Может быть, считает, что ее общество неинтересно?» — подумал я и, улучив момент, сказал:

— Вера, будь свободней, раскованней. Никто тебя здесь не обидит. Поддерживай хотя бы беседу, ну что ты грустишь!

— Я поддерживаю беседу, — вяло отозвалась она. — Но мне неинтересно о чем говорит твой приятель и его знакомая. Я ничего не понимаю в модных пластинках.

— Ну, конечно, лучше говорить о классической музыке или об Исландии, — съязвил я, и она сразу потупилась и сжалась.

На минуту я сравнил ее с жизнерадостной подружкой приятеля и раздраженно подумал: «у нее то задумчивый, то жалобный взгляд, она ничему не радуется по-настоящему. С ней я и сам стану мрачным типом. И вообще, какое-то бездарное лето».

Вечером мы вернулись в город. Еще в электричке, как бы оправдывая свое поведение, Вера сказала:

— По-моему, музыканты и художники живут интересно, но сумбурно. Богемный образ жизни очаровывает, но и губит. Все время сигареты, вино, неразборчивые связи. Это засасывает и губит. Я знаю по знакомым Наташи... Но она сильная, для нее главное — самодисциплина... Потому и не любит сборища художников. Она любит деревню...

Мы спустились в метро, проехали до станции пересадки и Вера предложила пройтись по улицам, «такой теплый ве-

чер» — промолвила. Она видела, что я злюсь, что мне не понравилось ее поведение на даче и пыталась загладить свою оплошность, но от волнения делала одну глупость за другой: вначале оправдывалась, говорила, что на даче разболелись почки от вина, хотя и всего-то его пригубила; потом как-то искусственно развеселилась, запела что-то и протанцевала — решила показать, что может быть такой, как все; наконец, смолкла на полуслове и в отчаянии глубоко вздохнула. В этот момент мы шли по улице Горького, внезапно она показала на арку, где начинался переулок, и прямо-таки с мольбой обратилась ко мне:

— Пожалуйста, свернем туда.

Около церкви стиснула мою руку.

— Подождите, я на минутку! — и забежала в церковь.

Вернулась с белым лицом, и, не поднимая глаз, ошеломляюще искренно проронила:

— Я помолилась, чтобы вы не бросили меня.

— Ты такая набожная христианка? — спросил я, когда мы снова вышли на улицу.

— Да, я верю в Бога. А вы разве не верите?

Я неопределенно пожал плечами и выдавил банальщину:

— Мой Бог — моя совесть.

«Динамо», как всегда, встретило нас прохладным ветром, и это обстоятельство особенно подчеркивало мое охлаждение к Вере. Проводив ее, я по пути к метро выкурил две сигареты подряд — меня обуревали невеселые мысли. Было ясно — она влюбилась не на шутку, любовь просто разрывала ее душу, к такому повороту я не успел подготовиться; надо было что-то предпринимать, как-то перевести наши отношения в спокойное русло, но как — в голову ни-

чего не приходило. Я подумал о том, как тяжело ей живется... «наверняка страдает, что не современна, не находит контакта с людьми... Конечно, такие, как она, хорошие жены домоседки, но с ними закинешь». Я вспомнил своих предыдущих веселых подружек, вроде дачницы приятеля, и меня потянуло к ним. Прохладный ветер, словно на крыльях, нес меня подальше от особняка.

Следующую неделю я все вечера напролет торчал в Доме журналистов, среди друзей единомышленников и веселых подружек. В пятницу нужно было появиться в радиокomitee и, представляя тревожное лицо Веры, я заранее приготовил оправданье — много работал.

Вера встретила меня не просто тревожно — ее взгляд заметался, она так разволновалась, что стала заикаться. В сквере, куда мы вышли прогуляться, она непрерывно тербила карандаш, который по рассеянности вынесла из редакции, потом взяла мою руку, стала гладить и вдруг порывисто поцеловала ее.

— Не избегайте меня! — проговорила с дрожью в голосе и отвернулась, чтобы я не видел ее слез.

«Она окончательно сломалась, — подумал я в метро. — Но как ее удержать на дистанции, если она уже привязалась и теперь наши встречи для нее — главное в жизни?! И заземлять ее бесполезно. Ее не переделаешь — она не от мира сего».

Я решил все пустить на самотек, и вечером без предупреждения поехал на «Динамо», прихватив торт для чаепития. Несмотря на пасмурное небо и пронизывающий ветер, а может быть благодаря им, особняк смотрелся особенно зрелищно, я даже задумался: «есть ли еще такой самобытный уголок в городе?».

Вера что-то читала, Наташа писала натюрморт, но как только я вошел, обе поспешно бросили свои занятия и стали накрывать на стол, при этом Наташа покрикивала на сестру больше обычного, но Вера так обрадовалась моему визиту, что этого не замечала; ее прежнюю печаль прямо-таки сдуло ветром.

— Все у вас, барышни, как-то не так, — сказал я, прихлебывая чай. — Сидите дома, точно монахини. После работы вам не мешало бы заниматься спортом; Вере — для здорового цвета лица, Наташе — для новых впечатлений. Как говорят англичане: «День для трудов, а вечер для отдыха».

— Впечатлений и так полно, — ухмыльнулась Наташа. — После Строгановки зашла в магазины, постояла в очередях, такого насмотрелась, наслушалась!.. Передо мной стояли двое мужчин, и один говорит трагическим голосом: «У меня жуткая неприятность. Представляешь, меня в Швецию не пустили. В последний момент в группу впихнули кого-то из своих. Но я это так не оставлю. Правда, в этом году уже ездил в Польшу...». Вот такая у него трагедия. Он объездил весь мир, только в Швеции не был, и она ему позарез нужна... У нас каждому чего-нибудь не хватает. Одному двух тысяч, чтобы купить дачу за сорок тысяч, другому — десяти копеек на пиво. Ирония судьбы!

— У нас в редакции бывает такой автор, — оживилась Вера. — Постоянно хвастается, только и слышно: «Получил тысячу за пьесу в Польше... Приглашают в Америку, во Францию... Не хочется ехать. Во-первых, я не летаю на самолетах — они бьются; во-вторых, там сейчас к нашим плохо относятся — еще убьют, а я нужен миру». Он считает себя гением, — пояснила Вера, обращая ко мне, без утайки показывая, как тронута моим приходом.

Допив чай, Наташа поднялась:

— Ну, ладно, люди! Надо проветриться. Вспомнила, я еще обещала зайти к подруге. Смотрите!.. — она хотела добавить свою присказку о поцелуях, но передумала, видимо, решила — уже не смешно.

— Как-то неловко получается, — сказал я Вере, когда мы остались вдвоем. — Наташа уходит, а наверняка хотела бы порисовать. Как-то я баламучу все у вас...

— Что вы! — Вера всплеснула руками. — Наоборот. До вас мы каждый вечер ссорились, а сейчас стали добрее друг к другу. Вы наш примиритель. Вы очень нравитесь Наташе...

До моего ухода Веру не покидал радостный настрой, но и ее радость была какой-то тихой. А когда я уходил, она проводила меня долгим тоскливым взглядом.

Ближе к осени ветер на аллеях усилился и погнал в сторону особняка первые желтые листья. Временами ветер достигал такой силы, что потрескивали и стонали деревья, а особняк запружали горы шуршащей листвы. Самое странное — те ветры постоянно меняли направление, а случалось, и неслись навстречу друг другу, и тогда, сталкиваясь, образовывали непредсказуемые вихри. Это явление чем-то напоминало мое ветреное отношение к Вере.

В один из вечеров, во время «чаепития втроем», приехал отец сестер, мужчина с умным, интеллигентным лицом.

— Папа! — Вера бросилась к отцу, прижалась к нему, заплакала. — Я так соскучилась!

— С приездом, отец! — Наташа подошла, чмокнула отца в небритую щеку и представила меня.

Мужчина пожал мне руку, назвал себя Петром Владимировичем и, доставая из портфеля бутылку водки, спросил:

— Так чей вы поклонник? Мечтательницы Веруни или нашей хозяйки, замечательной Матрены — Наташи?

— Угадай! — усмехнулась Наталья, но тут же выпалила: — Ну, конечно, Веруни! Зачем мне поклонники? Вот еще!..

...Я засиделся до полуночи. С Петром Владимировичем мы выпили всю водку и еще полбутылки какой-то наливки, которую он достал из шкафа и назвал «зачачкой от дочерей». Петр Владимирович рассказал о БАМе — «великой стройке, которая никому не нужна»; рассказал легко, с юмором, подтрунивая над «высоким начальством», то и дело прерывался, интересовался московскими новостями.

— Самую большую новость ты знаешь — у Веруни появился поклонник, — смеялась Наташа, пуляя в меня из невидимого пистолета.

Подыгрывая ей, я кивал, но про себя думал, что мое появление в этой семье и в самом деле событие.

Когда я уходил, Вера решила меня проводить и вышла в коридор накинуть плащ.

— Уж ты береги мою дочку. Она, Веруня, хорошая, — сказал мне Петр Владимирович на прощанье.

Когда мы вышли, в лицо ударил шквальный ветер. Старые деревья раскачивались и трещали, молодые клонились чуть ли не до земли, ветви неистово били по дворовым пристройкам — это был мощный натиск стихии. Пригнувшись, мы ступили в аллею, Вера стиснула мою ладонь и поехала.

— Какой сегодня сильный ветер. Скоро осень. Но папа приехал, теперь все будет хорошо... Папа часто выпивает. После смерти мамы стал... Вы, пожалуйста, не выпивайте с ним. Ему нельзя, у него здоровье неважное, — вой ветра заглушал ее слова.

Мы дошли до следующей аллеи, которая вела к метро, я поцеловал Веру в щеку.

— Беги домой, а то мне придется провожать тебя обратно.

— Ага! — Вера послушно кивнула, но на мгновение замерла и вдруг всхлипнула.

— У меня такое предчувствие, что мы расстанемся навсегда... Не бросайте меня! Мне без вас будет плохо...

В метро, подогретый выпивкой, я почувствовал, что мои мысли скачут между обезоруживающей просьбой Веры и свободой, которую я имел до встречи с ней. Потом внезапно налетевший смерч унес особняк вместе с его обитателями куда-то в Исландию и передо мной одна за другой возникли прежние мои подружки, веселые, жизнелюбивые, без всяких комплексов — мы легко сходились, беспечно проводили время и так же легко, без выяснений и взаимных обид, расставались... Потом тот же смерч, каким-то непонятным образом вернул особняк на место и я увидел Веру, Наташу, их отца, и ударился в размышления: «каждая семья — микросообщество со своими законами, вождями, друзьями; посещая эти государства, надо уважать чужие обычаи, нравы, и нельзя просто так вторгаться, навязывать свое, разрушать сложившиеся устои; нельзя походя, для забавы, привязывать к себе доверчивых людей, тем более играть в любовь»...

## **В ПОДВАЛЕ**

Они сидели в подвале в ожидании казни. Подвал находился в старом доме и напоминал каменный колодец с железными решетками на узком окне у потолка и тяжелым висячим замком на двери. Из подвала на улицу вела лестница со стертыми ступенями; она заканчивалась массивной дверью с надписью на внешней стороне: «Посторонним вход воспрещен!». Где-то там, за дверью, сверкало солнце, тянул ветер, шелестела листва, во дворах разгуливали их собраты — там был огромный, многоликий мир... А они сидели в полутемном сыром подвале; пыльная лампочка тускло освещала замшелые стены и цементный пол с желобом, по которому текла вода. Они тревожно смотрели на ступени; одни ждали, когда за ними придут хозяева, другие надеялись на чудо — что их все же освободят из заточения, но охранник подвала, молодой парень в сером халате, твердо знал — большинство узников обречены.

У них еще был шанс остаться в живых — два раза в неделю к подвалу подъезжали фургоны с врачами из научных институтов; врачи отбирали среди узников самых молодых и сильных на опыты. Тех, кого не забирали в течение двух-трех дней, тащили в соседнее строение и усыпляли; делали смертельный укол и бросали в огромный холодильник.

В те летние дни в подвале находилось семь собак, в том числе трое щенков, недавних сосунков, которых кто-то отнял у бездомной матери-дворняги и передал собаколовам; щенки лежали, прижавшись друг к другу, подрагивали от холода, поскуливали, беспокойно взирали на взрослых собак.

Рядом со щенками лежал Серый, старый больной ничейный пес, с впалыми, облезлыми боками, со множеством

шрамов на голове. Серый безучастно смотрел на желоб с водой — ему уже было все равно, где умирать. Он устал от долгой, неприкаянной жизни, устал шастать по помойкам, искать укрытия от непогоды, прятаться от людей, которые швыряли в него камни, гнали из подъездов, вызывали собаколовов. И за что его так ненавидели?! За то, что он тянулся к людям, все хотел найти себе хозяина, кому-то принадлежать, кого-то любить? Многие его собратья, с которыми он разделял скитания, озлобились, а он так и не затаил ни на кого зла, только от обиды иногда плакал.

За всю жизнь Серый встретил всего двух людей, которые отнеслись к нему по-человечески. Первой была старушка в далеком детстве; в то время он обитал в кустах недалеко от ее подъезда. В тех кустах он и родился, но его мать попала под машину, сестер и братьев утопили; его тоже бросили в сточную канаву, но он сумел выбраться и вновь приполз к кустам. Старушка его подкармливала целый год, пока ее не увезли в больницу.

Вторым был мальчишка, которого он провожал до школы и встречал после занятий. Тот мальчишка часто его гладил, чесал за ушами и называл ласково: «Серый». Однажды мальчишка даже привел его домой и сытно накормил; до самого вечера они играли с мячом, веником и тряпкой, но вдруг пришли родители мальчишки и его, Серого, выгнали. Некоторое время мальчишка встречался с ним тайно, но однажды сказал:

— Все, Серый, прощай! Завтра мы уезжаем в другой район.

Третьи сутки Серый находился в собачьей тюрьме. «Скорее бы все кончилось», — думал он и впадал в забытие; стонал и вздрагивал; перед ним возникали то старики, ко-

торые так и норовили огреть его палками, то мужчины и женщины, раздраженно топающие на него с криками: «Пошел прочь!». То те парни у столовой, которые плеснули в него горячим чаем. Долго тогда Серый бежал с обожженной лапой, долго зализывал воспаленную кожу.

Иногда Серый и сам удивлялся, как дожил до старости, как не умер от голода, не угодил под машину, как его не забрили до смерти? А последнее время еще стали мучить болезни. И он устал, устал от всего. Серый догадывался, что в подвале он первый смертник — кому нужен старый больной пес? Еще в день, когда его заарканили собаколовы, он распрощался с жизнью. Но ему было жалко других сокамерников, молодых, красивых собак, и особенно щенков несмышленишей.

Щенков швырнули в подвал вслед за Серым. Как и ему, им третьи сутки не давали еды, их постоянно трясло от холода и голода; потому Серый и лежал рядом — чтобы немного согреть и успокоить.

Двое суток провела в подвале беспородная молодая лохматая собачонка Алиса, любимица детворы, которая умела по команде сидеть, лежать, ползти и даже прыгать через палку. Алису забрали по доносу дворничихи на глазах у детей. Ребята кричали:

— Не трогайте Алису! Она наша! Мы ее любим!

Но дворничиха безжалостно заявила собаколовам:

— Забирайте! Только гадит и разносит заразу! — и собственноручно запихнула собачонку в фургон.

Разгоряченная Алиса не сопротивлялась — еще не отошла от дворовой игры: ее глаза горели, рот растягивался в улыбке — она была уверена, что начинается новая игра, только со взрослыми.

Как только Алису поместили в подвал, к ней бросились щенки, стали тыкаться в ее живот — подумали вернулась мать. Но Алиса еще не была матерью и немного растерялась; она только обнюхала щенят, каждого дружелюбно лизнула и нетерпеливо забегала вокруг лестницы. Весь день она ждала, когда за ней придут ребята и они снова помчат во двор, но к вечеру заволновалась; предчувствуя неладное, начала скулить и лаять — звала ребят на помощь, но они почему-то ее не слышали. С наступлением ночи в Алису вселился страх, она забилась в угол и с тревогой уставилась на темную лестницу. Серый и щенки урывками дремали, а она так и не сомкнула глаз.

Утром, после страшной, бессонной ночи, Алису шатало от усталости; она решила прилечь всего на минуту, но тут же уснула. Ей снился солнечный двор, белье, сохнущее на ветру, помойка, обложенная жухлым кирпичом, ржавая колонка, кусты сирени и шиповника перед домом, вытоптанная площадка, на которой она играла с ребятами, пожарный щит с ящиком песка, возле которого хорошо спалось в теплые летние ночи, и щель в бойлерной, куда можно было забраться в холодную зимнюю ночь.

Алиса родилась в другом районе города и, как и Серый, никогда не имела хозяина. Однажды на несколько дней ее приютила девушка, которая пахла цветочными духами. Это были замечательные дни: каждое утро девушка надевала спортивный костюм и они подолгу бегали вокруг дома, потом завтракали и девушка уходила на работу, оставив в комнате цветочный запах и включив радиоприемник, чтобы ей, Алисе, не было скучно. До вечера Алиса нежилась в кресле, слушала музыку по радио и смотрела в окно на улицу, где всегда происходило что-нибудь интересное. Вече-

ром девушка возвращалась, они снова бегали вокруг дома, ужинали, смотрели телевизор, при этом девушка все время разговаривала с ней и называла «Астрой», поскольку у Алисы уже тогда была густая бело-розовая шерсть, к тому же, девушка любила все «цветочное».

К сожалению, это длилось недолго: вскоре к девушке приехал жених, который сразу невзлюбил Алису и то и дело покрикивал на нее. Он был жадным и злым молодым человеком, и Алиса никак не могла понять, почему девушка привязалась к нему; почему, как только он приходил, выгоняла ее на кухню, и если заговаривала с ней, то как-то сердито. Несколько дней этот жених пытался сделать из Алисы «злого сторожа».

— Собака должна охранять и не подходить к чужим, — говорил он девушке. — А эта — не поймешь что!

Ему было невдомек, что собака прежде всего друг и не так-то просто из нее вытравить природное дружелюбие. В конце концов тот недалекий жених тайно привез Алису в чужой двор и бросил.

Она была веселой собачонкой и ребята сразу привязались к ней; одни угощали печеньем, другие — котлетой или косточкой; кто-то придумал кличку Алиса — так и превратилась Астра в Алису. Двор редко пустовал и Алиса все дни напролет проводила с ребятами, и никто никогда не видел ее в унынии. Но ближе к ночи, когда двор пустел и в домах гасли окна, Алиса укладывалась около ящика с песком или протискивалась сквозь щель в бойлерную, смотря какое стояло время года, и засыпая, мечтала о хозяине — он представлялся ей девушкой-бегуньей с цветочным запахом. Но ее хозяином вполне мог быть и мужчина, только не та-

кой, как тот жених, и желательно тоже с цветочным запахом.

Игрунья Алиса имела природный красивый окрас — чтобы только посмотреть на нее, во двор прибегали поклонники со всех соседних улиц, но Алиса никому не отдавала предпочтение. «Вначале нужно найти себе хозяина, а уж потом думать о личной жизни», — благоразумно рассуждала она и всячески выказывала свою любовь каждому встречному человеку: и ребенку и взрослому — она любила всех людей, кроме того жениха и дворничихи, которая вечно прогоняла ее со двора. С самого первого дня. И что плохого сделала ей Алиса?! Наоборот — с утра приветствовала, отчаянно виляя хвостом, пыталась сопровождать, пока дворничиха носила ведра к помойке. Всем своим сияющим видом Алиса как бы говорила: «Я хочу вам помочь, скрасить вашу нудную работу».

Но дворничиха была бездушной женщиной. Что собачонка! Она и ребят со двора прогоняла, и молодых людей, играющих в подъездах на гитарах, — и тем и другим постоянно грозила:

— Прекратите безобразие или вызову милицию!

...Алиса проснулась, когда хлопнула входная дверь и, тяжело ступая, в подвал спустились собаколов и охранник; за собой на петле-удавке они волокли породистого сеттера с ошейником. Втолкнув собаку в подвал, они сапогами отбросили щенков, которые поползли к ним, и удалились.

Нового узника звали Джерри. Он держался довольно спокойно — был уверен, что очутился в камере по недоразумению, по нелепой ошибке, ведь у него был и хозяин, и паспорт с королевской родословной. Наверняка, хозяин уже разыскивает его и вот-вот здесь появится.

Отряхнувшись, Джерри перешагнул через щенков и прошелся по подвалу, мимо дремлющего Серого и озирающейся по сторонам Алисы; остановился около лестницы и уставился на дверь. «Как-то глупо все получилось, — подумал он. — Хозяин считает меня умнее своих приятелей, а я оказался дураком, вернее слишком доверчивым — сам подбежал к этим извергам-собаколовам. Хотел просто понюхать кусок колбасы, которую они протягивали. И есть-то не хотел, просто поинтересовался, что за сорт? А они раз — и заграбастали меня! Да еще из фургона больно тащили на петле... Но ничего, сейчас придет мой хозяин, он им все выскажет, чтобы знали, как забирать породистых, потомственных собак! Мой хозяин не кто-нибудь, а уважаемый инженер... У нас квартира со всеми удобствами и даже есть «Москвич», на котором мы выезжаем на дачу...».

До позднего вечера Джерри прислушивался к наружным звукам; он ничего не вспоминал и ни о чем не мечтал — у него было все, что только может быть у собаки. Он ждал хозяина.

Поздно вечером привезли длинноногого, лобастого Марса, вожака небольшой стаи бездомных собак, которые обитали в парке. Марса отлавливали несколько дней — он был опытный, осторожный, и хорошо изучил людей. Несколько лет Марс служил на стройке, где у него была собственная теплая конура и алюминиевая миска, в которой сторожа приносили кашу; часто и рабочие, возводившие дом, что-нибудь притаскивали — какое-нибудь лакомство, вроде бутерброда с сыром. В благодарность за жилье и еду Марс охранял стройку, добросовестно нес нелегкую службу; в самом деле нелегкую, поскольку строительная площадка занимала большую территорию и была огорожена ветхим,

чисто символическим забором, а, как известно, всегда найдутся любители поживиться за чужой счет, так что Марс постоянно был начеку. Когда стройка закончилась и рабочие уехали, конуру Марса сломали и он попросту оказался на улице. Вскоре он примкнул к стае таких же бедолаг, как сам, а поскольку всегда отличался отвагой и силой, его сразу выбрали вожаком.

Целую неделю, пока длилась в парке облава, Марсу удавалось уводить стаю от преследований, но в тот вечер и его, бывалого, перехитрили. В конце парка среди кустарника собаколовы замаскировали сеть и погнали на нее стаю. Влетев в сеть, собаки запутались, отчаянно завизжали. Марс сумел вырваться, но не убежал, а, как истинный вожак, стал освобождать своих товарищей. Всех освободил, но на него успели накинуть петлю из проволоки... С раной на шее он стоял посреди подвала, не в силах отдышаться от долгой изнурительной борьбы. Потом начал метаться от стены к стене, бросаться на железную решетку. Его паника передалась другим собакам: Алиса истошно завывала, Серый и щенки заскулили, и даже Джерри заколотил озноб.

Ранним утром к подвалу подъехала легковая машина; из нее вышли кооператоры из пошивочного цеха. Вместе с охранником они спустились в подвал и сразу показали на Алису.

— Эта ничего, лохматая. Из нее шапка получится. Остальные не годятся.

— Берите и вон этого, с ошейником, — предложил охранник. — Породный. Отдам за пятерку. Перепродадите, получите неплохие деньги.

— Не-ет, этим занимайся сам, у нас и так дел невпроворот, — заявили кооператоры и поманили к себе Алису.

Она с радостью бросилась к ним, начала лизать руки «освободителям».

Алису увели; остальные собаки с надеждой уставились на дверь — подумали, что вот-вот и за ними придут и выведут из этого мрачного сырого подвала.

Первым казнили Серого, потом щенков.

— Этих кобелей пока подержим, — сказал охранник собаководам, кивнув на Джерри и Марса. — Сегодня должны прикатить врачи.

В полдень у подвала остановился фургон с врачами, но осмотрев собак, они заявили:

— Нам нужны маленькие и молодые, а эти слишком здровые.

Как только врачи уехали, на усыпление повели Джерри. В тот момент, когда он уже затих в холодильнике, прибежал его хозяин, пожилой мужчина.

— Где моя собака?! — запыхавшись прохрипел он.

— Какая? — с притворным спокойствием протянул собачий сторож.

Запинаясь, мужчина описал Джерри.

— Такого не было, — выдавил охранник.

— Как не было?! — возмутился мужчина. — Мне сказали, что его увезли от магазина.

— Мало ли что сказали. С ошейником и породных собаководы не берут. Ищите там, где потеряли.

— А где эти собаководы?

— На работе, на выезде, где ж им быть.

Хозяина Джерри всего трясло от негодования. Выйдя из помещения, он нервно закурил и невольно стал свидетелем, как охранник на петле-удавке выволакивал из подвала Марса. Пес отчаянно упирался, рычал, пытался перегрызть

железный прут; охранник пулял нецензурной бранью и с трудом втаскивал большую сильную собаку на ступени лестницы, но было ясно — пес просто так не сдастся, будет бороться до конца. В двери они застряли и охранник со злостью пнул Марса в живот. Пес взвыл и на мгновение присел, и вдруг метнулся на охранника, сбил его с ног и помчался в сторону улицы.

...Марс обгонял прохожих на тротуарах и машины на проезжей части улицы; за ним, высекая искры, волочился кусок проволоки.

— Бешеный! — неслоь ему вслед.

А навстречу ему уже тянул ветер из далеких загородных лесов, тот ветер доносил самое лучшее в мире слово: «Свобода! Свобода! Свобода!»...

## ВЕЧЕРНИЕ БУЛЬВАРЫ

Странный народ эти москвичи — вечно спешат, жалуются на сутолоку, сногшибательное движение транспорта и все такое, но никогда не променяют свой город ни на какой другой; даже уезжая ненадолго в командировку, начинают скучать по шумным улицам и потоку машин на Садовом кольце, толкотне прохожих, огромным людным магазинам. Кстати, в командировках или где-нибудь у моря на отдыхе москвичей сразу можно определить по свободным раскованным манерам и «аканью». Кое-кто из них ведет себя даже вызывающе, походки у таких молодчиков развязные, взгляды циничные, и слова они произносят самоуверенно, небрежно, точно являются, как бы это поточнее выразиться, представителями какой-то высшей популяции, что ли, и для них терпеть общество разных провинциалов — сплошная мука. Я не случайно говорю «кое-кто». Поверьте, таких мало и мне, москвичу, стыдно за таких недалеких балбесов, стыдно за их безмерную самонадеянность.

Хотите, познакомлю вас с настоящим коренным москвичом, который родился и вырос в Москве и предки которого лежат на ее кладбищах, который любит свой город и знает его, как свои пять пальцев, человеком неглупым и достаточно скромным? Он ежедневно проходит мимо прекрасных старинных домов, уже таких для него привычных, что он и не замечает их, только когда сносят какой-нибудь особняк и на его месте строят высокую стеклянную коробку, начинает возмущаться. В самом деле, просто зло берет, когда видишь, во что превратили Замоскворечье. Теперь и не вспомнить, какая постройка была раньше, какая позже, пойді разберись в этой мешанине стилей.

Так вот, этот москвич знает все театральные новинки, но сам бывает в театре не чаще двух раз в год. Все руки не доходят, вернее ноги. Он любит поговорить о погоде и самочувствии, о спорте и о политике, поругать лихачей-таксистов и начальство райисполкома за бесхозяйственность в своем районе, но попробуйте предложить ему другой район, это приведет его в замешательство, и будьте уверены — ни за что не поедет. Даже в большую квартиру и в лучший район, вроде Строгино, где красивые новые дома на берегу Москва-реки, отличные пляжи и воздух чистый, как в лесопарковой зоне. «Так-то оно так, — скажет, — но далеко-вато. У нас здесь все под боком, обжитое и всякое такое, а там за каждым гвоздем кати сюда, в центр, когда-то там все наладится». Он сильно привязан к своему району и считает его лучшим в городе.

Короче, это типичный москвич, мужчина среднего роста, обыкновенной внешности, примерный семьянин, живет в обычной двухкомнатной квартире в черте бульварного кольца. Каждое утро он встает по будильнику, проглатывает завтрак, приготовленный женой, закуривает, выходит во двор, торопливо здоровается с дворничихой и соседями, покупает газету в киоске на углу, на ходу просматривает ее, входит в метро, втискивается в вагон и катит на работу. Он научный сотрудник НИИ. Нельзя сказать, что он создает что-то такое, что человечеству позарез необходимо, без чего оно не выживет, он — крупница в общей структуре института, винтик в огромном механизме, но, как вы догадываетесь, все и держится на винтиках. Главное — он увлечен работой и испытывает радость, когда что-нибудь получается.

После работы он с приятелем сослуживцем доезжает на метро до «Арбатской», заглядывает в открытое кафе, опро-

кидывает стакан вина, чтобы снять скопившееся напряжение, и, уже покуривая, бредет по вечерним бульварам, где на скамьях молчаливо сидят старики, играют доминошники и шахматисты, где модно одетые парни слушают магнитофоны и рассматривают проходящих девушек, где, счастливо улыбаясь, катят коляски молодые мамыши, а молодые отцы важно вышагивают, заложив руки за спину, где выгуливают собак и старушки подкармливают голубей, где демонстрируют наряды разные модницы, где полно влюбленных и празднующихся, и подвыпивших, ищущих собеседников, и нагуливающих аппетит гурманов, где, наконец, большинство просто отдыхает после рабочего дня.

Он, этот москвич, идет вначале по Гоголевскому бульвару, потом по Тверскому и дальше через Страстной, подходит к своему, Петровскому. На бульварах он встречает знакомые лица, кто-то ему улыбается, кому-то он, с кем-то он только перекинется словами, с кем-то остановится поговорить. На всем пути к дому он ощущает себя среди людей, причастным к другой жизни, к другим болям и радостям, и вот это ощущение родственности, скажу вам, ни с чем не сравнимое чувство, что-то вроде меры ответственности за весь род людской.

Вы уже, наверное, поняли, что этот москвич перед вами. Это я. Мне скоро бахнет тридцать пять, но я, несмотря ни на что, чувствую себя молодым человеком. Если говорить начистоту, на работе я только сейчас вошел во вкус разных исследований и мой успех еще впереди. Что еще сказать о себе? Человек я неплохой, честное слово. Во всяком случае на подлости не способен. Я, может, и не подарок, но все же не как некоторые, которые только и знают заострять внимание на всяких пустяках да еще нудеть по поводу каждой

чепухенции. Я люблю легкую шутку, ненавязчивый юмор, к окружающим отношусь терпимо, лишь бы они не встrevали в мою жизнь. Характер у меня покладистый, а если некоторые считают, что не очень, то пусть поживут с мое, да еще в такой мясорубке, я посмотрю, что из них получится. Москва ведь не деревня Синичка, здесь ритм — ого какой!

Так вот, одежде я особого значения не придаю, галстуки не ношу, хотя жена так и норовит на меня их повесить, в еде я непривередлив, в жару люблю попить холодного пива, ну а после работы, как уже говорил, в кафе выпиваю стакан сухого вина, чтобы снять усталость. И не осуждайте меня, не уподобляйтесь моей жене. Работы у меня невпроворот, понятно? Лихорадочно наверстываю упущенное. А почему так случилось, сейчас объясню.

Лет пять-шесть назад я работал инженером в одном бюро. Ничего путного там не делал, чертил разные дурацкие загогулины и получал маловато, а у меня, как вы уже поняли, семья. Десять лет я отработал в том отделе — и никаких повышений. Вдвоем-то с женой мы жили более-менее сносно, а когда родилась дочь и жена уволилась с работы (она по образованию школьный учитель), стало туговато. И все же, когда я вспоминаю те годы, невольно начинаю улыбаться. Времени свободного у нас было хоть отбавляй; бывало, завезем ребенка к родителям жены, а сами в байдарку и по Истре или Клязьме. Каждую субботу плавали; у нас была хорошая, спаянная компания туристов из числа моих закадычных приятелей инженеров. А зимой гоняли на лыжах по Подмоскoвьe. И все праздники проводили вместе: смотрели слайды, пели песни. И вот что странно — деньги все время поджимали, случалось, друзья соберутся, толком

угостить нечем, но жили дружно и смеялись на этих вечеринках до коликов в животе.

Для полноты картины должен сказать еще вот о чем: моя жена, как и большинство женщин, умом не блещет, но красивая — глаз не оторвешь, и, что важно, особа коммуникабельная, как сейчас выражаются. К ней все тянутся. Приятели не раз советовали запускать ее к начальству, уверяли, что хлопоты о моем повышении сразу отпадут сами собой. Но я подобные советы не принимал, я не тот человек, у меня, понимаете ли, есть определенные принципы на этот счет. Я человек порядочный и всего хочу добиться самостоятельно и честно, не то что некоторые. Я мечтал перейти в НИИ и посвятить себя науке.

Так вот, мы жили, несмотря ни на что, неплохо, но, дело известное, так не могло продолжаться до бесконечности. Через два года жена вернулась в школу, но что они там получают?! На одежду-то ей не хватало. А когда дочь подросла, на меня прямо обрушились заботы: то за музыкальную школу плати, то нужны новые шмотки, то путевки на юг. В общем, жена начала вмешиваться в то, чем я занимался. Вначале намекала, что мне не мешало бы где-нибудь подрабатывать, при этом рисовала для семьи какое-то недостижимое будущее, потом начала просто методично меня допекать.

— Все твои приятели пишут кандидатские, — бурчала, — а ты на службе только часы отсиживаешь. Когда-то я, дура, думала, ты перспективный, а ты человек без будущего.

Чего только я не выслушивал! И приходилось терпеть, а что оставалось? Ну не было у меня на работе никаких тем для диссертации, не мог же я их высосать из пальца. Я ждал, пока освободиться место где-нибудь в НИИ, чтобы

заняться наукой. Короче, семейная жизнь пошла наперекосяк. Не знаю, может, и по делу жена пилила меня в то время, называла непробивным. Ведь, сказать по совести, кое-кто из моих приятелей инженеров процветал: устроился куда-то по совместительству, и технику и науку двигал вперед, и жил припеваючи. А я все сидел на окладе. И вот в это время, когда начались семейные разлады, я вдруг встречаю одного приятеля, с которым заканчивал институт; он катил на «Жигулях», развеселый, преуспевающий. «На дачу, — говорит, — дую». Мы разговорились, и он сообщил, что пять лет, вроде меня, промыкался в одном отделе, потом бросил все и устроился мясником в магазин.

— Вначале было унинительно как-то, — признался он. — Потом я понял, что не место красит человека, а человек... Да нет! Глупости! Зарплата. Теперь-то я на доске почета. Ну и сам понимаешь, живу не в среднем достатке. Вырезка всем нужна. Мой сосед журналист тоже в своей газетенке долго перебивался, пока не поумнел. Теперь-то он мебельщик, фанерует кухонные гарнитуры. Доходное дело. Сейчас ведь все получают новые квартиры, все хотят их отделать как следует... Ты вот подумай хорошенько, есть одно приличное место в железнодорожном бюро. Там бригадир знакомый парень, может оформить агентом по доставке билетов на дом. В день тридцатник будешь иметь. Запиши телефон, позвони, скажи — от меня. Только соображай быстрее, знаешь сколько желающих?! Ясное дело, просто так туда не возьмут. Ты бригадиру отдашь свой мизерный оклад, а весь навар тебе. Внакладе не будешь, обещаю.

«Все это прекрасно, — нашептывал мне тайный голос. — Но такая работа — удел прохиндеев, а я порядочный человек». Когда он уехал, я от души рассмеялся и дома решил

этим предложением повеселить жену, но она неожиданно все восприняла иначе.

— И не думай, соглашайся. Все равно в твоём отделе никакого продвижения не предвидится. Да и инженером всегда устроишься, а такой работы больше не подвернется.

«Работы я, конечно, не боюсь, — рассуждал я про себя. — Но все же как-то стыдно. И потом, как быть с НИИ?»

— Сейчас самый подходящий момент, — благословляла меня жена. — Поработаешь год-другой, зато проживем по-человечески.

Несколько дней я колебался, настроение было паршивое, а жена все наседала:

— Не ломай голову. Упрямый ты!

Где ей было понять, что это не упрямство, а умение отстаивать свои принципы. Но все же она доконала меня. Я уволился из отдела с твердой решимостью поработать доставщиком не больше года, но как-то незаметно втянулся в прибыльное дело и разносил эти проклятые билеты несколько лет.

Когда я пришел в ту контору, меня встретил бригадир, молодой холеный парень. Мы сели у окна и парень ощупал меня цепким взглядом; потом вздохнул:

— Не знаю, получится из тебя жох, то есть отличный агент, или станешь чайником, но посмотрим... Слушай меня. Значит так. В наше бюро поступают сотни заказов, особенно в летний сезон и перед праздниками — кто катит в Ленинград, кто в Киев, лимитчицы едут домой, в общем, понимаешь, да? Учти, мы гарантируем день отъезда, но не номер поезда и тип вагона. На этом можно играть... Наши агенты делятся на водителей и пешеходов, на ноги около пятидесяти билетов в сезонные дни, на машину — до ста. Так что

работа тяжелая. Все пешеходы оформлены в штате, но берут без высшего образования, усек? У тебя диплом. Не возьмут. Но! — бригадир поднял палец. — Водители берут себе «штурманов» из нештатных агентов. Для чего, сейчас объясню. Они, водители, ребята бывалые, знают все проезды, понял? Можно ведь давать кругалю, а можно дворами, выигрыш времени. Но здесь чисто психологический момент — они не умеют говорить с клиентами, с этим у них плоховато, не тот культурный уровень, и получают малый навар. А опытный жох выжимает по сорок рубликов, а в сезон и побольше. Ну само собой, день на день не приходится.

«Чего только люди не придумают! — мелькнуло в голове. — Но почему, собственно, мне не стать опытным жохом, я что, хуже других?! И потом, это все честно, без всяких махинаций».

— Здесь есть рекордсмен, — продолжал бригадир. — Сотню за день заработал. Я всегда говорю: «Нет плохих билетов, есть плохие доставщики»... Для начала прикреплю тебя к пешеходу Алексею. Парень он понимающий, с головой. Когда освоишься, подберу тебе водителя, — бригадир встал, одернул пиджак и протянул руку. — В общем, завтра будь к восьми. Попробуем.

Алексей встретил меня с распростертыми объятиями.

— Мы все должны помогать друг другу, верно? Сколько зависит от случая. Мы могли, и не помогли, а у человека, может, вся жизнь повернулась.

Он оказался моего возраста, долговязый, белобрысый, с вмятиной на конце носа, агенты звали его «поэт» — он когда-то поступал на филфак и писал стихи. Алексей был пешеходом со стажем и считался специалистом в своей обла-

сти. Взяв пакеты с билетами, он сел за стол и начал тасовать адреса.

— Видишь, билеты подобраны грубо, условно с сорок пятого дома по сто седьмой. Мы с тобой сделаем четкую подкладку.

За Алексеем была закреплена «Ленинградка», левая сторона Ленинградского проспекта. Зимой сюда входили все прилегающие улицы, летом, когда нормы увеличивались, Алексей ходил по улицам Алабяна, Куусинена, Ульбрихта, Альенде и Чапаевскому проезду. Здесь он знал все проулки, к любому подъезду подходил с закрытыми глазами.

— Ну вот, сделали, — Алексей сложил пакеты. — Плохо разложишь — промучаешься. А теперь у нас все по порядку. Теперь на метро до «Сокола» и дальше резвым аллюром на одиннадцатом номере, на своих двоих, постепенно наращивая скорость. Здесь главное — не сбиваться с темпа. Ты как, ходьбу любишь? Так, по виду, в тебе есть запасы наследственного здоровья. Заодно лишний жирок сбросишь. Вот только обувь у тебя немного того. Скрипит. Не разношенная, что ли? Смотри, ноги натрешь. Носи кеды. А еще лучше кроссовки. Дорого, конечно, и трудно достать, зато сами несут. Как говорят англичане: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи»... Обувь для ходока — главное. Еще батюшка Суворов об этом говорил, помнишь?.. И отрабатывай дыхалку.

В метро Алексей расспросил меня, кто я и что, потом вздохнул с грустной усмешкой:

— У меня то же самое, только от безденежья дело дошло до развода. Я по глупости тоже женился на красивой женщине. Влюбился в нее — жуть. Для меня прямо остановились часы. Все, что не было с ней связано, для меня потеря-

ло смысл. Она почувствовала мою слабость и стала относиться ко мне небрежно. Когда мы поженились, я работал редактором на телевидении, получал ерунду, но она заявила: «Деньги не главное», — и я был счастлив. Ведь правильно говорят англичане: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас все любят», верно? Но потом все стало неважно. В смысле материальном... Короче, я понял — красивая женщина привыкла нравиться, ей нужны модные вещи. С годами она сильно изменилась, только и нажимала на деньги. Правильно говорил Наполеон: «Красивая женщина — только прекрасная вещь, а добрая — сокровище». Я думаю, он имел в виду не то, что она отдаст свои бриллианты, а легкий характер, умение любить — это, кстати, самый большой талант в женщине, как ты думаешь?

Как только мы вышли из метро, Алексей без всякого повода повеселел, гордо выпрямился и легким спортивным шагом зашагал в сторону своего микрорайона. Я еле поспевал за ним. Стоял конец августа, разгар сезона, и у нас на руках было восемьдесят адресов. С трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы, я спросил у Алексея, нельзя ли брать поменьше.

— Нет, конечно. Откажешься — больше не получишь. Бригадир должен общий отчет делать и быть лучше других. У них ведь там свои дела, им тесно на одной лавке, вот и толкаются, борются за жизненное пространство. Я с ними не связан, но знаю их дела. Как говорят англичане: «Я никогда не нес яиц, но знаю вкус яичницы лучше любой курицы». Да ты не волнуйся, все разнесем. У нас с тобой неплохой квадрат, и он у меня как на ладони. Конечно, Пресня лучше, там большая плотность домов, но есть районы намного хуже. Например Дмитровка. Там одни пятиэтажки

без лифта. Побегай-ка по этажам. И общежитий полно, а у студентов, сам знаешь, откуда деньги, да и билеты дешевые, льготные. Правда, попадаются пижоны. Как-то одни заказали шесть купейных до Ленинграда. Тут уж я развел руками: «Стоило трудов», — говорю. А они: «Сколько?» — «Сами смотрите», — говорю. Главное, заложить в них это зерно, воззвать к совести. Как говорят...

Алексей, видимо, хотел привести какую-то поговорку англичан, но мы уже подошли к первому адресату, и он на ходу прочитал заказ на конверте: «Прошу поезд плацкартный, двадцать третий. Нижнюю полку. Едет больной человек».

— Теперь сверяем с тем, что дали, — пробормотал Алексей, доставая билет и совершенно не обращая внимания на меня, вконец запыхавшегося. — Так, конечно, не то. Поезд двадцать первый. А полка нижняя. Отлично. Заранее внутренне настраиваемся, — он профессионально окинул почтовые ящики, высчитал этаж по типу дома, и мы вошли в лифт.

Я смахнул пот, а Алексей все продолжал:

— Во-первых, сразу улыбайся, во-вторых, говори какую-нибудь отработанную фразу о погоде, о красивом подъезде. Как говорят англичане: «Обаяние — главный путь к успеху». Кто улыбается один раз в три дня, нам не товарищ. Но одним обаянием здесь не обойтись, надо, чтобы и язык был подвешен.

Дверь открыла полная усатая женщина, и мы с Алексеем расплылись в улыбках.

— Добрый день, добрый день! — заверещал Алексей, проходя за женщиной в комнату. — Каждый раз, когда я бываю в ваших домах, не устаю удивляться березкам во

дворах. Здесь видел — две стоят, переплетаясь, точно подружки обнялись.

— Да, да, здесь красиво, — закивала женщина.

Алексей выложил на стол билеты.

— Так, вы заказывали двадцать третий поезд. К сожалению, дали только двадцать первый, но тоже скорый, не беспокойтесь.

— Но меня должны встречать, — нахмурилась женщина.

— Ах, вас будут встречать?! Пожалуйста, дайте телеграмму. Это очень просто. Ваши знакомые прекрасно знают, как сейчас, в самый сезон, трудно с билетами. А с местом вам повезло. Нижнее — то, что вы просили. Вот вам ваше место, пожалуйста. И вот здесь распишитесь.

Женщина хотела что-то сказать, но, ошеломленная натиском Алексея, послушно взяла ручку и расписалась.

— Так, спасибо! — Алексей сложил ведомость и протянул мне. — Отдаю своему помощнику.

— Сколько я вам должна? — спросила женщина.

— Государству за билеты, остальное — на ваше усмотрение, — заученно, со сдержанной улыбкой ответил Алексей и, пока женщина отсчитывала деньги за билеты, хохотнув, добавил: — За ноги, за подошвы.

Я почувствовал себя неловко. Мне показалось это дурацким юмором, не намеком на вознаграждение, а прямым вымогательством, но Алексей как ни в чем не бывало взял рубль, который ему протянула женщина, поблагодарил, пожелал счастливого пути. В лифте он невозмутимо достал следующий адрес, а выходя из подъезда, уже просматривал новый билет, одновременно бросая в мою сторону:

— Ты пока запоминай номера домов, проходы. Полезно даже записывать, зарисовывать. Пешеходу надо иметь от-

личную память. И быть психологом, мгновенно ориентироваться в обстановке, по внешности определять клиента. Видел, у этой усатой какая обстановка? Все ломится от хрусталя! Думаешь, богатые много дают? Дудки! Как раз наоборот. Эта еще на рубль раскошелилась. А есть двадцать копеек дают. Отказывайся. У агента должна быть гордость. Нам подачки не нужны. Если только не пенсионерка. У них бери. Чтобы не обижать старушек. Как говорит один мой знакомый...

Он чуть ли не бегом пересек улицу, и я не услышал, что говорит его знакомый.

Рассматривая номера домов, Алексей поморщился.

— Черт! Как все пишут по-идиотски. Название улицы только на крайних домах. Номера за листвой. Вечером не освещены... Вот, вроде тот. Здесь надо уметь напрягать внимание.

Он влетел в подъезд, я — за ним.

Дверь нам открыл симпатичный мужчина с усталым лицом; поздоровавшись, пригласил в маленькую, захлавленную комнату. Из кухни, откуда сильно пахло мылом, вышла молодая женщина, хромоножка и горбунья. Вытирая руки о передник, она тоже поздоровалась, взяла таз с чистым бельем, стоящий в коридоре на табурете, и пошла на балкон. Алексей вздохнул и с улыбкой произнес:

— Ничего нет лучше запаха свежего белья. Как все-таки хорошо иметь дома хозяйку. Лопнуть можно от зависти. Вот мы с напарником разведенные, так все приходится делать самим.

Мужчина не понял, что Алексей просто налаживает с ним контакт, и сочувственно кивнул.

— Значит, вы заказывали два билета в Запорожье, — Алексей раскрыл пакет. — Вот ваши билеты. Несмотря на трудности — сами понимаете, сезон, — вам дали то, что вы просили. Поезд тот же, скорый, места плацкартные, только не рядом: одно номер десять, второе — четырнадцать. Но там поменяетесь. Вы же знаете, в вагоне незнакомые люди сразу становятся друзьями, чуть ли не родными. Проведут сутки в поезде, а обмениваются адресами, договариваются встретится, приглашают друг друга в гости, чуть не плачут при расставании, верно? Как говорят англичане: «С рассветом чужие люди становятся друзьями».

Мужчина закивал, поблагодарил, расплатился и сверху положил рубль. В комнату вошла женщина, посмотрела издали на билеты, тоже сказала «спасибо». Я протянул ведомость мужчине, он расписался, и мы откланялись.

Выскочив на улицу и рассматривая следующий адрес, Алексей сказал:

— Видал, бедняки, а тоже рубль дали. Вообще, мои симпатии всегда на стороне вот таких работяг. Мне противны богатые, преуспевающие люди. Честным трудом добиться богатства невозможно. Да и не нужно. Зачем оно, богатство-то? Достаток — другое дело... Правильно говорят американцы: «Все, что покупается за деньги, стоит дешево». Жаль только, они, черти, не следуют своей поговорке. И нажимают на деньги... А разные наши знаменитости богатые — дутые, верно? Популярность часто бывает незаслуженной. Возьми поэтов. Ну что это за стихи...

Третьим адресатом оказался пожилой мужчина, толстяк с двойным подбородком. Он жил в коммунальной квартире и, когда мы пришли, что-то мастерил в застекленном закутке на лестничной клетке: сидел на стуле, широко расставив

ноги, в майке, шароварах и тапочках на босу ногу; перед ним на полу стоял ящик с инструментом и лежали разные пружины, шестеренки, болты.

— Мой билет принесли? — бросил он, как только мы переступили порог. — Положите вон туда, — он кивнул на зеркальный столик. — Сколько там целковых-то?

— Сейчас посмотрим, что мы вам принесли, — начал Алексей, но мужчина его остановил.

— Чего смотреть. Поезд до Симферополя? Все! Вагон-ресторан есть? Все! Место мне все равно какое. Я как сажусь в поезд, сразу иду в вагон-ресторан. Сколько там целковых-то?

Он залез в задний карман шаровар, отдал деньги, расписался и положил на ведомость три рубля.

— Вам на пиво, — хмыкнул.

— Отличный старикашка, — сказал Алексей, когда мы вышли. — Правильно говорят американцы: «Все должны долго жить, но никто не должен быть старым».

Через час мы обошли две улицы и разнесли штук десять пакетов. Я уже взмок, а Алексей хоть бы что — носится от дома к дому и поторапливает меня:

— Скорей, скорей!

И на ходу вскрывает пакеты, бормочет номера поездов, вагонов, посадочных мест, и все натаскивает меня с разными лирическими отступлениями. Я был для него настоящим тормозом, но он относился ко мне снисходительно или великодушно, это уж как вам больше нравится. К полудню, когда беготня доконала меня окончательно, я заикнулся Алексею про обед, но он, честное слово, посмотрел на меня как на идиота.

— Терпи до пяти-шести часов. Когда отчитаемся, тогда будет тебе и обед с ужином. И пиво, и что-нибудь покрепче. Главного ты не уловил: чем раньше все сдадим бригадирю, тем больше нам вес и ему премиальные. Туго ты соображаешь, брат. В этом вся соль нашей работы. Без обеда и без выходных. Деньги, брат, нигде даром не платят, а как ты думал? Ладно, посиди вон в том скверике, передохни, через полчаса подходи к дому пятнадцать по Альянде и жди меня.

Алексей понесся дальше, а я доковылял до туалета при сквере, ополоснул потное лицо, потом нашел уединенную скамью, плюхнулся, снял ботинки, растер зудевшие ноги, закурил и подумал, что подобная работа все-таки не для меня.

Я пришел на улицу Альянде, только чтобы не выглядеть мелким обманщиком, и уже открыл рот, чтобы объявить Алексею о своем решении, как он подмигнул мне:

— Навар уже перевалил за тридцатник. Сегодня исключительно удачливый денек. Сейчас сделаем последние заходы и около сороковки в кармане будет, вот увидишь.

Я помножил в уме сорок рублей на тридцать дней и от невероятной суммы почувствовал новый прилив сил.

В бюро мы возвращались около семи часов вечера. Меня подташнивало и шатало, как не хлопнулся в обморок — не понимаю, а Алексей насвистывает себе.

— В нашей работе есть еще одна особенность, — говорит совсем бодрым голосом. — В сезон носишь при себе до двух тысяч рублей. Как инкассатор... Пока никого из ребят не грабили, но все может быть. Учти, воры бывают обыкновенные и психологи, которые убеждают, и жертва все отда-

ет сама, — Алексей засмеялся. — Теперь понял, почему нельзя выпивать на работе?

Алексей отчитался за билеты только в половине восьмого — в кассу стояла приличная очередь и пешеходов и водителей, зато в восемь мы уже сидели в кафе и заказывали свои любимые блюда. На прощанье Алексей сунул мне в карман десять рублей и хлопнул по плечу:

— Через недельку, когда изучишь дело, начнешь работать самостоятельно, а завтра утречком снова в бюро, и не опаздывай.

На следующий день с утра барабанил дождь и мы с Алексеем весь день бегали по скользким улицам, промокшие, забрызганные лепешками грязи.

— Ничего, — пытался шутить Алексей, взвинчивая темп бега. — Как говорят англичане: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Неплохо бы иметь непромокаемый комбинезон, но где его взять?

— Ты здорово знаешь англичан, — вставил я. — Бывал там?

— Что ты! Просто читал много. Поэзия у них хорошая.

В тот ненастный день заработали рублей тридцать, но с последней клиенткой получилась накладка. Это была женщина средних лет, худая и нервная. Она поблагодарила за билет и дала нам шестьдесят копеек, но вечером, когда Алексей отчитывался, в бюро раздался звонок и эта женщина сообщила, что билет ей дали не тот, да еще почти рубль содрали. Оказалось, действительно агенты на раскладке неправильно сделали подложку, а Алексей невнимательно проверил. На следующий день ему вкатили выговор, он расстроился и сказал мне:

— Черта с два теперь принесу ей билет. Таким клиентам знаешь как мстят? Подходят к дому, тихо опускают извещение в ящик, а на пакете пишут: «Нет дома». Пусть сама топает в бюро.

Через несколько дней Алексей вручил мне два пакета:

— Попробуй в одиночку. Встретимся через двадцать минут у дома двенадцать.

Первое мое посещение клиента окончилось безрезультатно. Я вошел, поздоровался и брякнул:

— Я принес вам билеты.

Мрачный мужчина взглянул на меня хмуро, с угрозой; дотошно, чуть ли не на просвет рассмотрел три заказных билета, недовольно пробормотал что-то про «боковое место на проходе», потом отсчитал стоимость билета и доставки, расписался в ведомости и направился к двери, просто-напросто выпроваживая меня.

Вторым адресатом оказалась капризная старушенция с гнусавым голосом. Взяв билет, она загундосила:

— Ой! Первое купе! Прямо над колесами. Ни за что! Стук всю ночь! Я заказывала купе в середине вагона, а вы что мне даете?! Сейчас буду звонить!

Я стоял остолбенело и не знал, что делать, потом вспомнил заповедь Алексея: «Главное — не оформлять отказ» — и начал уговаривать старуху, заявив, что и ехать ей всего ничего, и что теперь вагоны новые, катят плавно, без стука, а первое купе — около проводника, первым получаешь постель, чай и вообще всякое внимание. То ли я убедительно говорил, то ли у меня был слишком жалкий вид, но неожиданно старушенция смолкла, спрятала билет в комод, расплатилась и предложила выпить чаю, а когда я поблагода-

рил и отказался, протянула мне рубль, давно зажатый в руке, и сказала в нос:

— Ты уж проследи, милок, чтоб в следующий раз мне хороший билетик подобрали.

Когда мы встретились с Алексеем, он похвалил меня:

— Ну вот, почин сделан. Молодец! На еще десяток пакетов. Весь навар твой. И чтобы не тратить время на встречи, приходи прямо в бюро.

В тот день я заработал двенадцать рублей, правда, долго искал адресатов и пришел в бюро поздно, когда Алексей уже весь изнервничался.

Вот так, по сути дела, все и началось. Первое время под вечер валился с ног от усталости, зато жена встречала как нельзя лучше: сразу вела в ванную и, пока я отмывался, держала полотенце наготове, потом усаживала за стол, ставила передо мной тарелку супа, сама садилась напротив и, подперев щеки руками, смотрела на меня нежно и то и дело вскакивала и подливала добавки. Моя семья вступала в полосу относительного благополучия.

С Алексеем у меня было ощущение надежности; больше месяца я бегал с ним и за это время прошел хорошую школу агента-пешехода, то есть познал все тонкости в работе доставщика, научился подходить к людям и освоил спортивную ходьбу. Осенью бригадир вызвал меня в контору «на серьезный разговор».

— Ты, вроде, освоился в нашей работе, — сказал, — созрел для повышения. Перевожу тебя штурманом к водителю Геннадию. Он с головой. Объясняю твою задачу. Значит так. Каждый водитель хочет иметь интеллигентного штурмана. Чтобы не пил, имел подход к людям, ну и развлекал болтовней его, водителя. Плохо ли водителю? Сидит поку-

ривает, а ты носишься по этажам? Но зато он подвозит прямо к подъезду. За это половину выручки ему. И здесь все построено на честности. Разок надуешь или плохой будет навар — откажется от тебя, — бригадир поправил галстук. — Слушай внимательно дальше. В восемь утра ты с водителем забираешь пакеты. Доставка стоит один рубль. Остальное, как говорится, на усмотрение клиента. Сколько получишь — все твое и водителя. Один маленький нюансик: никогда никому не груби! Накатают-то на водителя, он ведь отчитывается за все, ему и достанется. Ну поймешь по ходу работы.

Водитель Генка выглядел отлично: молодой, загорелый, спортивного вида, но в общении с людьми был слишком прямолинеен, не чувствовал клиента: то отпускал плоские шуточки, то молчал, как теленок, то глупо хихикал — это он называл «контактировать с клиентом». Но у него было одно достоинство — свои Мневники он знал назубок. В первый день, объезжая район, он ввел меня в курс дела, объяснил особенности своего участка:

— Эти дома берутся с тыла, там все подъезды выходят во двор, сечешь обстановку? А вот эти берутся с улицы, но там одностороннее движение, поэтому к ним подкатим напоследок, когда будем возвращаться, уловил?

Надо сказать, водил Генка свой «Запорожец» потрясающе, такого я никогда не видел. Бывало, весь перекресток забит, а он умудрится протиснуться меж грузовиков и легковушек к выезду в какую-нибудь арку и шпарит по дворам. Смотришь, уже вынырнул за светофором. Все лазейки в Мневниках знал. И еще одно важное добавление: Генкина юркая машинешка никогда не ломалась, и в этом тоже Генке плюс; представляете, как надо следить за техникой, что-

бы она не выходила из строя! И при всем при том Генка знал некоторых постоянных клиентов. Не раз меня заранее предупреждал:

— Этот довольно забористый, никогда не дает. И не намекай. Не вздумай! А то еще пожалуется начальству, усек?

Мы с Генкой быстро поладили, хотя и начали работать не в сезон, когда заказов было мало и частенько у водителей с пешеходами возникали ссоры: пешеходы были недовольны, что шоферы берут агентов со стороны, тех, с которыми сработались. Чтобы не вызывать лишних кривотолков, мы с Генкой сразу договорились встречаться не в бюро, а на одной из улиц по пути в Мневники. В первые дни работы штурманом, по совету Алексея (мы с ним остались друзьями), я брал для Генки заначку — пятерку, чтобы в случае плохого навару приплюсовать ее к общей сумме и не выглядеть перед «шефом» плохим специалистом. Но воспользоваться заначкой мне пришлось лишь однажды. Тот день был самый дурацкий: не везло с первого заезда. Вначале попался привередливый старикан.

— Что вы мне притащили?! — кричал он. — Видите, здесь написано черным по белому: «Прошу одно место. Купе. Желательно нижнее место. Поезд вечерний». А вы мне что притащили?! Плацкарт, да еще утренний поезд! А где я буду ночевать, вас спрашиваю?! Я еду в санаторий! Безобразие! Этот билет мне не нужен. Отказываюсь от него.

Я изобразил улыбку и начал уговаривать старика.

— Утренние и дневные поезда лучше всего. За разговорами с попутчиками и не заметите, как время пролетит. А вечерние и ночные — хуже всего. Никогда не выспишься. Кто-то хлопает дверью, кто-то храпит...

— О чем вы говорите! — не успокаивался старик. — Я еду в санаторий. И начинать отдых с мучений?! Нет уж — спасибо! Зачем мне это надо?! Отказываюсь от билета.

— Ну как же так, «отказываюсь»! — уже без улыбки сказал я. — Ну представьте себе, что вы вызвали рабочего циклевать полы, а он заболел и пришел на другой день, а вы его уже не ждете. Надо же ценить труд других... На вечерние поезда почти нет билетов. Все компостируют транзитникам, да из одного состава вообще сделали «поезд здоровья». На станции назначения вы будете в три часа ночи. Пока на вокзале попьете кофе, перевернете журналы, уже и автобусы пойдут. Ничего страшного.

— Все равно — нет, — мотал головой старик.

Тогда я привел самый последний довод, которому, как прикрытию, научил меня Алексей:

— И потом, этот билет всегда можно сдать. Вы его возьмите, а если сможете достать другой, его просто сдадите.

Еле уговорил старика, до отказа дело не дошло, но, конечно, и мелочишки не получил.

После этого было несколько более-менее удачных заходов, но потом опять, словно в противовес, пошли проколы — два «залетных» пакета, то есть адресаты, вываливающиеся из общей раскладки. Один куда-то в Троице-Лыково, другой — в Черницыно. Это выливалось в потерю двух-трех часов. Я посоветовался с Генкой.

— Ерунда! — махнул рукой Генка. — Оставь эти дикие пакеты. Я напишу: «Звонили — нет дома». Завтра пойдут в новую подборку. Ты давай разноси остальные, да веселее, в нашем деле дорога каждая минута, усекаешь?

Мы развезли еще штук пятнадцать пакетов, причем последние три были в один новый дом, который еще только заселялся. Во дворе стоял электрик и всем объявлял:

— Лифты будут работать только завтра. Рубильники отключены и опечатаны.

— Как же таскать мебель?! — возмущались жильцы.

Электрик только пожимал плечами, но после перебранки, угроз и уговоров согласился включить лифт «под свою ответственность», при этом, негодяй, назначил точный тариф: пятьдесят копеек за этаж. Мне, разумеется, пришлось побегать по лестницам: на восьмой, девятый и шестнадцатый этажи. Вышел из дома взмыленный, плюхнулся на сиденье машины и долго не мог отдышаться. А Генка сидит себе, газетку почитывает. И я подумал: «Несправедливо получается, но, с другой стороны, если бы не Генка, не было бы у меня никаких пакетов». Приходилось терпеть, а иначе как?

В этот день у меня навар был всего двадцать два рубля — по одиннадцать нам с Генкой, но с моей пятеркой у него получалось шестнадцать.

— У тебя легкая рука, — отчеканил Генка при прощании. — Надо же, даже в такое время прилично выжимаешь. К Новому году нам будет совсем лафа, на праздники-то народу много разъезжается, улавливаешь?

Всю зиму я прокатал с Генкой, и, надо отдать ему должное, — в праздники, во время запарки, он, не поморщившись, помогал мне. Мы с ним разбрелись: пока я обегал один квартал, он успевал объехать дальний кусок нашего района и тоже разнести пару-тройку пакетов. Слабовато, но все ж подмога. После окончания работы мы с Генкой дели-

ли выручку, он выбрасывал меня у ближайшего метро и гнал в бюро отчитываться.

За зиму я окончательно освоил ремесло агента и — хотите верьте, хотите нет — даже выработал свой стиль. Сейчас объясню, в чем он заключался. Если, к примеру, я заходил к адресату в первой половине дня, то сразу говорил:

— Я решил вас отпустить пораньше.

Если во второй половине, то:

— Наверное заждались? Но ничего, зато мне есть чем вас порадовать.

И если приходил вечером, то тяжело вздыхал:

— Такой тяжелый день, еле до вас добрался.

И все это, как вы догадываетесь, конечно, говорил с широкой, располагающей улыбкой — ее я отработал еще дома, перед зеркалом. Ну и независимо от времени, когда пришел, дальше от меня следовало:

— Давайте посмотрим, что я вам принес. Так, вы просили...

И дальше импровизировал на тему: «билет — поезд — пассажир» и непременно хвалил город, в который клиент собирался. В заключении я говорил:

— Сколько должны? За билеты столько-то, остальное — сугубо ваше личное дело, как вам подскажет голос совести, ваше душевное движение, — и, совсем расплывшись, тихо добавлял: — Формально — ничего.

Вы обратили внимание на слова «ваше душевное движение»? Согласитесь, это я неплохо придумал. Ненавязчиво как-то и тонко — срабатывало безотказно. Пользуясь этой схемой, я получал от пятидесяти копеек до двух рублей за визит, а иногда, когда заказчик получал по пять-шесть билетов, навар достигал и трех рублей.

Со временем мы с Генкой обслуживали и «залетных» адресатов. Я звонил им в полдень:

— Ваш пакет по недоразумению попал ко мне... Если успею... Сидите ждите...

И в трубку слышалось:

— Мы вас отблагодарим. Только, пожалуйста, привезите.

Вот так я и работал, и каких только клиентов не встречал! Однажды принес билет старушке, у которой жило, вы не поверите, пять собак и семь кошек. Сама старушка была вся в лохмотьях, как груда тряпья, но в собачьих мисках лежали добротные куски студня. Старушка встретила меня радушно, усадила пить чай с вареньем, представила всю свою кошачье-собачью братию.

— Вон те соседи ворчат, — старушка кивнула налево, — не любят животных. А эти, — старушка кивнула направо, — хорошие. Дают мне кости... Вот собралась сына навестить, да не знаю, присмотрят ли они за моими собачками. Обещали, но кто их знает. Люди они хорошие, но все же подхода к животным не имеют. Чувствую, прям изведусь вся... А ты, сынок, сильно похож на моего сына... Ты ешь варенье-то, ешь...

Старушка дала мне за билет двадцать пять копеек, и я долго и сердечно ее благодарил. Сами понимаете, мог бы и не брать эту мелочь, но, как говорил Алексей, отказом обидел бы старушку. Теперь-то наверняка до вас дошло, что разнос билетов еще и деликатное дело.

В другой раз принес семь билетов одному военному; он дал мне семь рублей «за услугу», а его жена налила огромную кружку молока и завернула с собой десяток горячих пирогов. Видали, как бывало?! Любой позавидует. Эти семь рублей долго были не только моим личным рекордом, но и

лучшим достижением в бюро за весь несезонный период. Я гордился этой семеркой, как спортсмен, ставший чемпионом мира. Честное слово. Кстати, позднее, работая самостоятельным пешеходом и набегая за день не один десяток километров, я не раз подумывал, если уж на то пошло, мог бы стать и чемпионом среди марафонцев.

С наступлением весенних дней бригадир наконец доверил мне собственный район, вернее, часть района однорукого старика пешехода Ганзы. Ганза считался полупешеходом — он ездил на велосипеде. Ездил не торопясь, вроде бы с ленцой, — катаюсь, мол, в свое удовольствие, — но все делал как надо, «эффективно», как выражался наш бригадир-заправила.

Бывший фронтовик, Ганза работал в бюро чуть ли не со дня его основания и поэтому за ним «навечно» были закреплены лучшие точки: Песчанка и Щукино. Раньше он успевал объезжать весь район, но с годами стал сдавать и в сезон брал на подмогу напарника. Прослышав про мои подвиги, Ганза предложил мне один летний сезон поработать с ним. Себе он, конечно, снял пенки — взял Песчанку, мне отдал Щукино и еще Октябрьское поле и Первый Волоколамский проезд. Так я стал самостоятельным пешеходом.

Ганза был маленький, конопатый, сутулый, ходил в засаленном пиджаке, один пустой рукав которого был заткнут в боковой карман. Ганза носил кепку и полевую сумку через плечо.

— Я в этом районе прижился, приспособился к обстановке, — тихо и вкрадчиво объяснял он мне в первое утро нашей разности. — Сказать по правде, раньше я выполнял работу шутя, а теперь сказывается возраст... И были у меня всякие жохи-напарники. Всяких насмотрелся. Был один до-

ходяга, затажной пьяница. Я его быстро турнул. Трезвый бегал как лось и вел себя с клиентами культурно, жох был отличный, ничего не скажу и врать зря не буду, но как опрокинет рюмку за воротник, — все, не человек. Ну мне это и опостылело. Всех пьяниц я бы скопом на свалку. Мало ли что с ними произойдет, а тебе отвечать, верно? Ты, я слышал, непьющий. Это хорошо.

— Ну как непьющий, — обиделся я. — По праздникам и после работы немного...

— Ну это святое дело, — поспешно согласился Ганза. — После работы можно выпить. Такая у нас работа. Побегай с наше, ведь так? Я говорю во время работы, вот о чем я говорю... И был у меня хороший жох — молодой парнишка, симпатяга. В актеры готовился... Лопотал без умолку да с прибаутками. Клиенты его любили страшно... Но он был, как бы тебе сказать... Несдержанный, рисковый малый. Не раз привозил возвраты, да с бригадиром не стыковался, говорил заносчиво, а власть надо уважать. Я тут навел справки — ты вроде работаешь спокойно.

Ганза ездил на велосипеде, который привязывал цепью с замком к изгородям, деревьям и водосточным трубам. Если во дворе находился знакомый дворник, или на лавке сидели знакомые старики, Ганза просто оставлял велосипед у подъезда и просил присмотреть за ним. С клиентами Ганза говорил трафаретно и всем лепил одни и те же ахинейские бессмыслицы:

— Явился к вашему удовольствию; желаю приятного удовольствия...

И при этом любовался до слез какими-нибудь безделушками, вроде слоников, но отказов не имел и получал неплохой навар — скорей всего, его просто жалели как калеку.

Щукино — красивый, зеленый район, пока бежишь, озоном надышишься, но вот пятиэтажек там, скажу вам, многовато и дома разбросаны, так что за семь часов я набегал в общей сложности по двадцать-тридцать километров. Даже подсчитал: в среднем на три пакета уходил километр, представляете?

Летом для пешехода идеально иметь сорок пакетов в день. Их без напряжения, при определенной тренированности, можно разнести за семь часов. Но в первый месяц, случилось, я не успевал с разноской и тогда брал такси и уже о деньгах, ясное дело, не думал — только бы разбросать, чтоб не было возврата. Потом изучил местность, стал резать углы, экономить время. Что выматывало — это пятиэтажки без лифта, да еще буквенные корпуса: пойди найди какой-то там корпус «Т», если он по улице под одним номером, а по переулку под другим! Но тут уж срабатывал мой опыт, да и я наловчился на ходу, не сбивая дыхания, выспрашивать нумерацию у прохожих. Что говорить — уставал прилично, выматывался так, что домой еле ноги волочил; зато похудел, живота — как не бывало. Жена говорила, что я даже помолодел. Но это, я думаю, она просто льстила мне, как бы подогревая интерес к работе. Для нее-то, как вы догадываетесь, наступила золотая пора — знай себе приборачляется, она прямо расцвела на благодатной почве, а из меня, естественно, выжимала все соки.

Так вот, в конце рабочего дня я привозил ведомость и деньги Ганзе в бюро, он отчитывался, а я направлялся к дому.

Всякие выпадали дни. Бывало, навар еле тянул на десятку, но бывали дни как целая цепь подарков.

Однажды — смех, да и только — с утра попал на свадьбу. Не успел войти, усадили за стол, навалили гору еды... Оказалось, я принес билеты для свадебного путешествия, и меня отблагодарили как следует.

После свадьбы влетел к одному адресату, а его нет дома. Выругался, стою в нерешительности: то ли извещение писать, то ли заказ аннулировать. Вдруг смотрю, по лестнице нетвердо поднимается мужчина с сумкой.

— Ой, миленький, — обратился ко мне. — А я только в магазин вышел. Мне баба деньги дала. Если бы не дождался, ох и дала бы мне баба.

Мужчина провел меня на кухню, угостил чаем, убирая со стола грязную посуду, пожаловался на дочь, «неряху и эгоистку».

— И почему я должен за ней убирать? Что я, нянька им, что ли? — искренне возмутился он, подливая мне чая. — На внешность она ничего, но характер — не приведи бог. Не знаю, какой дурак на ней женится... Ей уже двадцать пять — и все не выходит, — он удрученно покачал головой. — Все же жалко ее. Неужели уж она хуже всех, не может выйти замуж?!

Мужчина меня хорошо отблагодарил, и не только как доставщика, конечно, а и как сочувствующего слушателя.

Во второй половине дня меня занесло к одинокой, скупающей женщине. Я заметил ее еще издали (вычислил квартиру по этажам) — она стояла на балконе в яркой юбке, которая туго обтягивала широкие бедра; но когда я поднялся, она уже была в полурасстегнутом халате, на сильно напудренном лице сияла улыбка. Женщина чуть ли не за руку втащила меня в комнату, достала из шкафа шампанское и попросила «скрасить ее одиночество». Она даже не

взглянула на билеты и не спросила, «сколько за них должна», но сразу полулегла на тахту, еще больше расстегнула халат, и я понял — она готова отблагодарить меня другим способом. Немного стушевался, конечно, не без этого.

— Вы знаете, так душно. Я буду сидеть в халате открытой, вы не смотрите, — очень ласково проговорила женщина.

Когда мы выпили и я сверил билеты, женщина скинула тапочки и, вытянув ноги, совсем легла на тахту.

— Вы знаете, ужасно душно. Я полежу совсем открытая. Вы не смотрите.

Думаете, я залился краской? Не совсем, но что-то вроде этого. У меня в руках было еще много пакетов, а со свадьбой я вышел из графика, и время уже поджимало нешуточно. Только поэтому, а не по каким-то там нравственным причинам, мне пришлось отказаться от романтического времяпрепровождения. Расписываясь в ведомости, женщина разочарованно вздохнула, а когда я встал, поджала губы и отсчитала за билеты сумму с точностью до копейки. Она явно дала мне понять, что предлагала несравненно большее вознаграждение, но я, болван, этого не оценил. Странно, но, впервые не получив чаевых, я не огорчился — был уверен, да и вы уверены, что это не проявление жадности, а маленькая месть одинокой женщины. Больше того, спускаясь по лестнице, я почему-то впервые задумался о том, какими жалкими выглядят мои заботы о наваре в сравнении с заботами многих моих клиентов. Я вспомнил, как однажды принес билеты в квартиру, где стоял гроб и вокруг сидело множество плачущих людей. Потом выяснилось, что умер муж клиентки, а ей предстояло через несколько дней ехать к больной дочери. Представляете, каково мне было туда являться?

Так что всякое бывало, всякие выпадали деньки. Жизнь-то ведь, она идет полосами... И о человеке нельзя судить однозначно: нет же людей с одними достоинствами или с одними недостатками, согласны?

Доставщиком я проработал почти три года. За это время мы с женой не только залатали все дырки, но и накупили всякого барахла, и квартирка наша стала как игрушка — скопище самых модных вещей. Больше того, мы записались на машину — этот символ независимости, если сказать красиво, и даже запланировали приобрести главный предмет собственности — дачу. Материально мы опередили всех знакомых.

— Мы не мещане, — говорила жена, — просто хотим жить по-человечески, ни в чем не нуждаться.

Теперь, кто бы к нам не заходил, у нас всегда был коньяк, сервелат, фрукты. Один близкий приятель, руководствуясь благими намерениями, уговаривал меня бросить все это и вернуться в отдел. А я тащил его к нам в доставщики.

— Пойми! — убеждал я его. — На окладе ты ждешь зарплаты, а здесь живые деньги. Каждый вечер в руках кругленькая сумма. И жена довольна...

Приятель мотал головой, ухмылялся — мы говорили на разных языках, но расставались дружелюбно, только в душе я считал его дуралеем, а он наверняка таковым считал меня.

Но вскоре все стало меняться. Друзья у нас собирались по-прежнему, но теперь они вели разговоры в основном с женой, общаться со мной им стало неинтересно. Бывало, за весь вечер со мной никто не говорил ни слова, я выпал из их жизни. На меня смотрели как на обслуживающий персонал, да еще всячески подчеркивали это. Они толковали про

науку и технику, про свои диссертации, разные открытия, а я сидел, хлопал ушами и думал: «А ведь когда-то это была и моя жизнь, но они ушли вперед, а я все гоняю, как ишак, все подсчитываю на бумаге рубли, все выверяю, прикидываю».

Известное дело, отрицательные примеры высвечиваются еще больше примерами положительными. Короче, я стал терзаться, что три года ухлопал зря, что во мне, как бы это поточнее сказать, происходит разрушение личности, что ли. И это ощущение потери времени впустую не давало мне покоя. Разум требовал забросить все к черту и вновь устроиться инженером, а лучше поступить в НИИ, заняться наукой, но тайный голос нашептывал: «Нет тебе пути назад, ты совершил непоправимую ошибку, мир науки тебе недоступен».

После этих посиделок, поверьте, жизнь становилась невмоготу. Я испытывал настоящее чувство страха за будущее. Но это еще не все. В гости особенно часто навещался блондин-гигант, неприятный на вид тип с нагловатым взглядом. Когда-то его привел с собой мой приятель, и с тех пор он зачастил. Он был говорун, каких поискать, трепач с жалкими потугами на юмор. Из его рта прямо текла серебряная струя — это когда он говорил с моей женой, когда же удостаивал двумя-тремя фразами меня, то извергал водопад презрения. Он старался меня поддеть своими «мизерными заработками за серьезную научную деятельность», точно я получал деньги задарма, а не отработывал свое честно. Главным для него было — унижать людей. Что говорить, зловредней типа я не встречал. А перед моей женой он выкаблучивался как только мог, отпуская тошнотворные комплименты, болтал о своей докторской диссертации, во-

ображал из себя черт-те что; во всем этом трепе так и сквозило желание прославиться, но жена слушала его разинув рот, ее сердце таяло от восторга. Она почти чокнулась, и увивалась вокруг него — противно было смотреть. Это повторялось с разными вариациями при каждом его визите. Их симпатия возрастала у меня на глазах, и моему терпению не было границ. И можете себе представить, до этого моя жена была само целомудрие и застенчивость, этакая тихоня с вялым приглашенным темпераментом, а тут вдруг преобразилась — смеется, чуть не захлебывается смехом, лукавит, глазами так и рыскает. И откуда взялась эта энергия?!

Но самое оскорбительное начиналось, когда гости уходили: жена становилась ко мне придирчива и сварлива, шпыняла по каждому пустяку. Чего только я не выслушивал! И что я зануда, каких мало, и показушник несчастный, и то, что ничего не читаю и не хожу с ней в кино.

— У тебя, кроме выпивки, нет других развлечений, — раздраженно язвила она, совершенно забыв, что сама толкнула меня на «новый» путь, что ее идея легкого обогащения завела меня в тупик, что ради нее я пожертвовал всем и теперь безнадежно отстал от приятелей.

Как-то я высказал ей все это. Она на минуту замолкла и, мне показалось, пристыдилась. Но я ошибся — она замолкла, чтобы собраться с силами и обрушить на меня новый поток оскорблений, а под конец и вообще нанесла жестокий удар по моему самолюбию.

— ...Ты всегда был неудачник, — заявила. — Я поняла, ты никогда не напишешь кандидатскую, потому и согласилась на эти билеты. На большее ты не способен.

Вот так все и вышло мне боком. После этого скандала я решил покончить с билетами, но заранее подыскать местечко в НИИ. Только особенно искать не имел времени, а куда ни заходил по пути, все было забито, и незаметно я опять втягивался в свою недостойную, позорную для мыслящего человека, работу. Ясное дело, на душе уже было сверхпаршиво — иногда прямо света не видел от этих дурацких билетов. От постоянных улыбок на моем лице появилась маска с оскалом. Жена говорила, что я улыбаюсь даже во сне и во сне бормочу: «Доброе утро!», «Добрый день!». Ей-то нравилась моя приветливость. А меня эти улыбочки настораживали — я боялся спянуть. А больше всего огорчало то, что стояло лето, а я ни разу не выбрался на речку, совсем перестал общаться с друзьями байдарочниками. Мне было не до них, ведь лето — самый разгар работы. Меня окружали новые дружки: водители, штурманы, пешеходы. С ними я вел беседы, выпивал. Вот только старым своим привязанностям я не изменил — как бы ни уставал и как бы ни было поздно — по-прежнему после работы любил пройтись по бульварам, подышать свежим воздухом, сбить темп после дневной беготни.

Однажды выпал мучительный денек. Стояла жарища, и к полудню я проделал изрядный путь, и все по кошмарным дорогам в проездах Волоколамки. Не помню, сколько обещал адресов, но уж немало, и носился что есть мочи, словно за мной гнались бешеные собаки. А жгучее солнце палило нещадно. Наглотался горячего воздуха, рот пересох, тело взмокло, брюки покрылись пылью, о кедах не говорю — сбил начисто. И все на пустой желудок. В общем, набегался, всего ломало, хоть ложись и подыхай, а предстояло еще

разнести с десяток пакетов. Правда, мысленно я прикинул навар, и уже получалось неслыханное везенье.

И вот, что бы вы думали, в этот момент я приношу билеты в квартиру старого приятеля, с которым когда-то заканчивал институт. Он открыл дверь, и у него прямо очки полезли на лоб:

— Вот это встреча! Ты что, переквалифицировался?

Он провел меня в комнату, поставил чайник, а я, измочаленный, опустился на стул, смахнул пот и долго не мог отдышаться.

Мы проболтали больше часа. Я рассказал ему о своей работе, он поморщился, махнул рукой, похвастался, что за это время сделал ценное открытие и сейчас увлечен новым направлением в той области, в которой мы когда-то вместе специализировались и о которой я уже имел смутное представление. Ужас какой-то! Он говорил, а я чувствовал пропасть между нами. Поверите ли, эта деятельность в агентстве сильно отразилась на моем умственном развитии. Я понял, как чудовищно низко пал. «Все, хватит, сыт по горло этими билетами! — окончательно решил я про себя. — Ни дня больше!» Приятель обещал мне помочь устроиться в его НИИ и буквально через неделю сдержал слово.

А тогда, выйдя от него, я запустил все оставшиеся билеты в воздух и сразу почувствовал огромное облегчение, точно вылез из болота. Даже раскаленный воздух показался мне прохладным, я почувствовал себя человеком, понимаете?

Вас интересует, как к этому отнеслась жена? С недоверчивой усмешкой — вот как! А ей ничего другого и не оставалось. Она — дурочка, но поняла, что я озверел...

Ну а теперь, когда я заимел любимое дело и получил должность научного сотрудника, она смотрит на меня... ну

нет, конечно, не как на бога, но уважительно, смею вас уверить, так оно и есть. Кстати, в ней проснулся запоздалый комплекс вины, и она отвадила от нашего дома того блондина, своего настойчивого воздыхателя.

Ну а по вечерам я, как и раньше, люблю пройтись по бульварам, только не чувствую прежней усталости, вернее чувствую, но это какая-то приятная усталость. Такое впечатление, что я заново родился, честное слово.

## ТАНЦУЮЩИЕ СОБАКИ

Нас считали слегка «с приветом»: его, тридцатилетнего механика, вечно небритого, навеселе, и меня, шестиклассника, который, по мнению учителей, «ходил в школу не учиться, а отмечаться». А слегка тронутыми нас считали за безоглядные поступки и выходы, и прежде всего, потому что мы устраивали танцы с собаками и часто это делали публично, с большим подъемом.

Нас вообще объединяло многое. Прежде всего нам обоим было в высшей степени наплевать во что одеваться, что есть, на чем спать, и свободное время мы проводили легко — болтались где попало, благо в нашем городке был и речной порт, и стадион, и тьма закусочных. К примеру, с полочки дяди Сережи — так звали моего старшего друга — мы садились в попутный грузовик и катили куда шла машина — нам было все равно куда ехать. Где-нибудь на окраине просили шофера притормозить, заходили в закусочную, дядя Сережа брал стакан портвейна, несколько холодных котлет, конфеты, при этом подмигивал мне:

— Трата денег требует искусства. Конфеты тебе, котлеты собакам, а это мне, — он опрокидывал стакан портвейна.

Мы выходили на пятак перед закусочной, кормили местных дворняг котлетами и с веселым задором затевали с ними возню.

Еще мы оба любили технику. Дядя Сережа работал механиком в авторемонтной мастерской, а я собирался после седьмого класса податься в ученики к автослесарю и частенько, прогуливая школьные занятия, торчал в мастерской.

— Машина это не просто набор железок, — многозначительно говорил дядя Сережа. — Это живой организм. Отсю-

да пение, пыхтение, дыхание машины. Она вбирает энергию людей, которые ее делали. Злой передает ей злость, непрочность, добрый — доброту, надежность. Потому машина сама выбирает, сколько ей работать.

Я слушал развесив уши и восторгался интеллектуальным величием моего друга и наставника. В масштабах нашего городка он мне казался самой значительной личностью. В свою очередь дядя Сережа тоже видел меня личностью в некотором роде.

— Ты толковый парень, — говорил. — Из тебя выйдет слесарь что надо! По части техники уже имеешь основательный запас знаний.

Вдобавок у нас была еще одна любовь — к собакам. У дяди Сережи жили три беспородные собаки: молодая рыжая сучка Глафира, молодой разнопятнистый кобелек Гришка и старый пес Артем, у которого была облезлая шерсть, но взгляд острый, повелительный. Дядя Сережа не случайно дал собакам такие имена. Он говорил, имея в виду своих собак:

— У моих ребят больше человечности, чем у некоторых людей, которым надобно давать клички.

Полуподвальную, захламленную квартиру дяди Сережи кое-кто называл «свалкой». В самом деле, она напоминала лавку утильщика, но я был уверен — у дяди Сережи прекрасное жилище, захватывающая жизнь и лучшие собаки в нашем городке, ведь они были музыкальные, то есть любили музыку и даже танцевали под нее. Стоило дяде Сереже завести патефон, как Глафира вставала на задние лапы и с оглушительным лаем скакала по комнате, при этом вся сияла от радости. Гришка тоже кое-что изображал — быстро перебирая лапами, крутился на месте и то и дело разевал

пасть — вроде пытался запеть. Степенный Артем некоторое время невозмутимо взирал на эти фортеля, демонстрируя умственное превосходство перед собратями, но потом не выдерживал — раскачивал головой в такт мелодии, его взгляд теплел, он улыбался и всем своим видом давал понять, что танцы ему нравятся. Чтобы еще больше завести собак, я вскрикивал:

— Танцы-шманцы-обниманцы! — и приседал, и подпрыгивал.

Потом и дядя Сережа присоединялся к нам: кружил по комнате, раскинув руки. Наш праздничный настрой не очень-то нравился жильцам наверху. Случалось, они барабанили в дверь, кипели, как горох в кастрюле, грозили милицией, после чего дяде Сереже приходилось снимать пластинку.

А бывало, во дворе слышалась музыка — кто-нибудь из соседей громко включал радиоприемник; собаки тут же бросали на дядю Сережу выжидательные взгляды и, если он кивал, стремглав выскакивали во двор и устраивали танцы на публике. Останавливались прохожие, из окон высывались жильцы. Еще бы! Не каждый день увидишь такое зрелище.

Собаки дяди Сережи любили танцевать, потому что по характеру были веселягами, да и жили припеваючи — дядя Сережа кормил их тем же, что ел сам, только что не наливал портвейна. Ну и, конечно, постоянно разговаривал с ними, и собаки с жадным вниманием его слушали. Дядя Сережа вызывал у них чувство глубокого уважения и был для них почти Богом.

— Заметь, — говорил мне дядя Сережа, — Глафира больше любит вальсы. У нее душа нежная. А Григорий тяго-

теет к песням. Артем — тот уважает марши... Артем, скажу тебе, пес редкий. Кристально честный, без разрешения со стола ничего не возьмет. Гришка с Глашкой могут сцапать, Артем — никогда... А вообще они все ребята отличные, и утешить умеют и развлечь. И тебя любят — знают ты мой друг, — дядя Сережа хлопал меня по плечу, — ведь мы с тобой друзья — не разольешь водой, верно?

От этих слов я надувался — гордость прямо распирала меня.

После школы, когда дядя Сережа еще был на работе, я выгуливал его собак (ключ от квартиры мы прятали в потайном месте). Окруженный лохматой свитой, я спускался в овраг, причем, шел медленно, из уважения к возрасту Артема — он тяжеловато ходил, а Глафира с Гришкой, само собой, неслись впереди. В овраге мы купались в ручье, обследовали бугры и впадины, я раскачивался на ветвях орешника, собаки облаивали ворон — неплохо проводили время.

Вечером с работы приходил дядя Сережа, доставал из сумки еду, портвейн; мы ужинали, а потом устраивали танцы, и не останавливались пока не являлись жильцы сверху или за мной не заходила мать; она стыдила дядю Сережу за «балаган» и под конец говорила одно и то же:

— ...Жениться тебе, Сергей, надо. Не женишься — плохо кончишь!

Ну, а меня выталкивала за дверь и по пути к дому давала подзатыльник:

— Лодырь несчастный! Кто будет делать уроки? Пушкин?! Знай, если будешь прогуливать школу, отдам в детдом!

Кроме любви к технике и собакам, нас с дядей Сережей объединяло враждебное отношение к женскому полу. Я вообще всерьез девчонок не воспринимал, считал их ничемным сословием и в открытую говорил им гадости. Ну а дяде Сереже, по его словам «женщины прилично насолили», и потому он твердо решил остаться холостяком. Как-то он сказал:

— У мужчин полно недостатков, а у женщин только два — все, что говорят и все, что делают. Так говорят англичане. Я тоже так считаю. У меня над рабочим местом видел надпись: «Не верь тормозам и женщинам!»

— Я девчонок ненавижу! — выпалил я, пытаюсь развить эту тему.

— Ты гигант! — кивнул дядя Сережа. — Настоящий мужчина должен заниматься техникой, а не волочиться за юбками. И должен любить животных... Послушай, что произошло вчера. Иду, значит, с работы, вдруг вижу ее.

— Кого? Женщину?

Дядя Сережа нахмурился:

— Да какую там женщину! Собаку! Хорошую такую собачонку. Лежит мертвая на проезжей части. Какой-то лихач сбил. Набить бы ему морду. Не перевариваю лихачей. Грамотный водитель едет спокойно... Ну, похоронил собачонку честь честью.

Как я уже сказал, свободное время мы проводили — лучше нельзя: посещали стадион, «болели» за футбольную команду нашего городка или направлялись в речной порт, где среди рыбаков и лодочников у дяди Сережи было немало закадычных дружков. Пока мужчины пили портвейн, я узнавал, кто сколько поймал рыбы, кто куда плавал, что нового в верховьях и низовьях реки. От любого рыбака и ло-

дочника я получал гораздо больше знаний, чем от всех школьных учителей вместе взятых.

Но прошлым летом все пошло наперекосяк. Ни с того ни с сего мой старший друг стал каким-то задумчивым, рассеянным, отвечал невпопад... И даже танцевал с собаками без прежнего энтузиазма — так, два-три раза прокрутится, ляжет на кровать, запрокинув голову и улыбается каким-то своим мыслям.

— Дядь Сереж! — допытывался я. — Что с тобой? Может, заболел?

— Спрашиваешь! Ясное дело, заболел... Но совсем малость. Думаю, скоро поправлюсь.

Но не поправился и через несколько дней стал говорить с виноватой улыбкой:

— Ты это... сходи на стадион один, у меня тут есть одно дельце. И это... вот сверток с едой, покорми собачек. Я поздно вернусь.

Или, переминаясь с ноги на ногу:

— Ты это... сгоняй в порт один, скажи корешам, чтоб сегодня меня не ждали. Есть одно дельце. И это... потанцуй с собачками. Я сегодня может и не вернусь.

И вот однажды, возвращаясь со стадиона, я внезапно увидел его в сквере с... женщиной. С женщиной на скамье под деревьями! Я не поверил своим глазам и подошел ближе, чтобы убедиться — мой ли это горячо любимый друг, убежденный женоненавистник?! К великому огорчению, это был он. Рядом с ним сидела полная женщина в невысказанно ярком платье, она была как надувной шар, перевязанный посередине, и вся в украшениях. Почему-то я сразу подумал, что вместе с украшениями толстуха весила должно быть немало. Они прижимались друг к другу, дядя

Сережа что-то с жаром говорил и хватал женщину за разные места, потом смолкал, и она посылала ему улыбки и вздохи, а он взмахивал руками — как бы ловил ее улыбки и вздохи, словно бабочек.

— Это похоже на любовь, — хмыкнул я, охваченный ревностью и злостью. Мой друг нанес мне чувствительный удар.

Я думал, на следующий день он сам все расскажет. Где там!

— Есть одно дельце, — только и сказал, с дурацкой блаженной улыбкой.

Казалось, он задался целью подшутить надо мной. Но чаша моего терпения переполнилась, и как только он заикнулся про «дельце» в очередной раз, я едко процедил:

— Не ври!

Он глубоко вздохнул, достал папиросы, закурил.

— Точно, вру. Плюнь мне в морду! — и дальше начал оправдываться: — Понимаешь какая штука. Скажу тебе прямо, от чистого сердца. Я, кажется, немножко полюбил... Она душевная женщина. Очень красивая, любит песни. А чутье и слух у нее — как у собаки. Она тебе понравится.

— Ты что ж, решил жениться? — как бы с вялым интересом усмехнулся я; внутри-то у меня бушевало адское пламя.

— Не знаю, не знаю, — он обнял меня и расплылся. — Но мы все равно останемся друзьями, верно?

Смертельно усталый я побрел домой. «Нет уж, дудки! Друзьями мы не останемся! С предателями не дружу!» — беспощадно бормотал я и пинал все камни, попадавшие на пути.

## ЖЕНЩИНА ИЗ ТАЙГИ

Она выглядела довольно привлекательно: высокая, с упругой фигурой; у нее были гладкие черные волосы, тонкий нос и большие темные глаза. Держалась она уверенно, но что-то в ее взгляде мне сразу показалось настороженным, какая-то пугливость дикарки, что ли — она смотрела слишком серьезно, с неприкрытым пытливым интересом.

Она села за стол и сразу уставилась на меня темными глазницами. Я даже заерзал на стуле. Вокруг было полно свободных мест, но она подошла к моему столу.

— Свободно?

Спросила глуховатым голосом, поставила чашку с кофе, повесила сумку на спинку стула и села.

Не знаю, что уж ей там во мне понравилось. Может, то, что я сосредоточенно смотрел в свою чашку и думал о статье, которую нужно было срочно сделать. Меня поджимали сроки, вот я и сидел в одиночестве и обдумывал статью, а она, наверно, решила, что я вообще жутко деловой и положительный тип.

Некоторое время мы сидели молча, потом она — то ли самой себе, то ли чтобы завести разговор — проговорила:

— Очень крепкий кофе, — сказала без всякой улыбки, с каким-то внутренним напряжением.

— Хороший, — подтвердил я. Будущая статья из головы моментально вылетела, я достал сигареты, предложил ей.

Но она качнула головой:

— Я не курю... И кофе не люблю... Жаль, здесь нельзя выпить чая... Там, откуда я родом, все пьют чай... с брусничным вареньем.

Этим бесхитростным откровением она подчеркивала дистанцию между мной и ею, и мне ничего не оставалось как спросить:

— Откуда же вы родом?

— Из Иркутской области.

Она была одета вполне современно, говорила по-московски, с «аканьем», и трудно было поверить, что передо мной провинциалка.

— Сибирячка, — заключил я. — А здесь давно?

— Приехала сдавать кандидатский минимум. Поступаю в заочную аспирантуру, а закончила биофак в Иркутске.

— И в Москве впервые?

— Второй раз, — она размешала сахар в чашке, сделала маленький глоток и снова посмотрела мне прямо в глаза. — А вы журналист?

— Да, — нарочито многозначительно произнес я.

— И москвич?

Я кивнул.

— Я не смогла бы здесь жить, — она поджала губы. — Здесь суета и неразбериха, а в спешке ничего дельного не делается... А что суетятся, непонятно, только разбрасываются по мелочам. На работе-то канитель, а после работы собираются и говорят о работе... И друг к другу относятся небрежно. А у нас там, на Ангаре, тишина, густая мягкая трава и пряный воздух, около нашего дома лодка...

— У вас есть семья?

— Я живу с отцом и братьями. Они лучшие охотники в области. Я тоже отлично стреляю... Без промаха... Сейчас там талые воды и солнце яркое, жгучее... Бывает, с неба сыплет прямо ледяной душ, и вода в Ангаре белая от ветра... А здесь и весна какая-то вялая...

Все это она сказала с неподдельной искренностью, и я понял, что такая естественность может быть только в значительном человеке. В ней, действительно, угадывалась цельность природы, какое-то величие. «Лесная дева, дочь природы», — подумал я и разулыбался.

— Чему вы усмехаетесь? — ее глаза недоверчиво сузились.

— Завидую вам, — сказал я, на самом деле подумав, что за свои сорок лет ни разу не был в Сибири.

— В прошлый приезд я сидела в этом вашем кафе, насмотрелась на разных насмешников из литературных компаний, артистической среды... А привези их к нам в тайгу, они оказались бы слабаками...

— Я тоже один их них, — вставил я.

По-моему, она хотела сказать: «Вы, кажется, другой», но осеклась и, помолчав, продолжала:

— Их бы к моему отцу, он сделал бы из них настоящих мужчин. Хотя нет, наверное, не сделал бы. Из кирпича масло не выжмешь и на голом месте ничего стоящего не вырастет...

— Нет, все-таки сделал бы, — помолчав, добавила она.  
— Отец все сильный, он все может.

— А настоящие мужчины это какие? — я приосанился и надулся, пытаюсь внести в беседу элемент игры, но она ответила серьезно:

— В которых есть стержень... Во взгляде готовность преодолеть трудности... Да, в них сразу видно что-то особенное... С таким мужчиной не страшно оказаться на необитаемом острове. Он построит дом, найдет пищу...

Она вновь пригубила кофе.

— И женщины здесь не такие... Наша женщина прежде думает о своем мужчине, а потом уже о себе. А ваша москвичка вначале выяснит, как он относится к ней... Да что там! Наши женщины ходят по углям! И я могу!..

— Ну уж не придумывайте.

— Я никогда не вру, — резко бросила она. — Мой отец тебя за такие слова...

Она сказала «тебя», и я понял, как сильно задел ее достоинство.

— Я никогда никого не обманывала, — твердо заявила она. — И не прощу, если обманут меня.

— Застрелите? — я все не терял надежды внести в разговор юмористические нотки, но вновь потерпел поражение — она говорила то, что думала:

— Просто никогда не подам руки такому человеку.

«Как она не вжилась в городскую среду, ведь года четыре училась в Иркутске?» — недоумевал я. Было похоже, что пребывание в городе еще явственней выявило ее суть, ее определенность и самостоятельность, четче обозначило ее моральную основу. Это не соответствовало привычным стандартам. Но, тем не менее, в центре Москвы, в кафе, в одном из «злачных заведений», как говорят мои приятели, передо мной сидела мифическая Диана.

Успокоившись, она снова перешла на «вы» и без всякой манерности произнесла:

— Конечно, здесь много интересного: театры, музеи, но ведь в них вы, наверно, редко ходите?

— Вообще не хожу.

— Ну вот, видите. А от ежедневной сутолоки можно сойти с ума... На природе — совсем другое дело, там есть время подумать о вечном, проникнуть в таинство мироздания,

передать свои наблюдения людям, которые придут за нами на эту землю... В городе люди оторваны от земли, сами себе рубят голову... Конечно, они живут в хороших условиях, но это приедается... Забывают добром квартиры, а добро должно быть внутри нас. Все их добро преходящее, а знания неглубокие, наносные. Сейчас полно таких преуспевающих. Надоели эти преуспевающие... Познать себя, свою связь с остальным миром — вот что главное... У нас люди проще и лучше. Они способны на жертвенность.

«Она права, — мелькнуло в голове. — Настоящие духовные ценности неизмеримо выше разных знаний».

Заметив, что я сник, она сменила тему:

— Поговорим о чем-нибудь другом. О чем вы пишете?!

— Сейчас надо написать статью об одном режиссере... — я начал рассказывать про известного театрального деятеля, про его взгляды на искусство и на жизнь вообще.

Она внимательно слушала, наклонившись вперед и подперев щеки руками; потом, когда я смолк, снова откинулась.

— А что такое искусство вообще? Для меня это память народа. Это прежде всего ремесла. Приезжайте к нам, вы увидите таких мастеров! У них все подлинное, достоверное. Вот о ком нужно писать. А в театре и в книгах много надуманного, ради красоты. Конечно, там богатое воображение и все такое, но... хороших писателей мало. Большинство все что-то выдумывают, какие-то сказки, — она глубоко вздохнула, еще раз пригубила кофе и, как бы приняв допинг, с новой силой обрушила на меня свой разрушительный настрой:

— Вы тоже преуспевающий?

— Ну, по нашим понятиям, я живу неплохо.

Она неопределенно хмыкнула, потом спросила, люблю ли я животных, умею ли бегать на лыжах?.. Ее прямолиней-

ные вопросы ставили меня в тупик. Казалось, я для нее своеобразный стендовый образец, на котором она испытывает москвичей на прочность. В конце концов меня заело, и я рассказал, что зимой каждое воскресенье хожу на лыжах в парке рядом с домом, а летом отпуск провожу на реке со своей собакой.

— У вас есть собака? — удивилась она, и я понял, что мы нащупали общую почву.

Мы проговорили часа три, не меньше. За это время я выпил несколько чашек кофе и выкурил с десяток сигарет, но, видимо, произвел на нее впечатление — она попросила проводить ее до общежития аспирантов и, прощаясь, придумала хороший повод увидеться на следующий день.

— Я постараюсь уговорить вас съездить к нам, — сказала, протягивая узкую крепкую ладонь. — К тому же, у меня здесь, в Москве, никого нет, а с вами можно поговорить.

Весь следующий день я думал о ней. Статья о режиссере писалась плохо: набросал какой-то сумбурный план, исчеркал пять страниц, потом прочитал — все коряво, уровень школьного сочинения, не выше. Когда пришел в кафе, она уже была там, ходила по холлу и рассматривала фотовыставку; увидев меня, пошла навстречу.

— Мы договорились в шесть, а сейчас уже около семи, — недовольно выговорила она.

— По-моему, мы договорились от шести до семи, — начал оправдываться я.

— Нет, в начале седьмого. У тебя неряшливая память. У вас, — поправилась она.

— Ну, извините, — я примирительно взял ее за локоть, но она отдернула руку.

Только мы сели, как назло, подходит знакомый журналист, любитель посмаковать анекдоты. Мы сели в углу, в укромном месте. Нет, на тебе — этот прилипала! И главное, как нарочно, накануне ни с того ни с сего подумал о нем: «Что-то давно его не видно». И вот — пожалуйста! У меня всегда так: год не вижу человека, стоит о нем вспомнить — на следующий день встречу как пить дать. Ну, этот говорун, ясное дело, мимо не пройдет. Вот и на этот раз подскочил да еще подсуропил:

— Ого! Привет! Ты, как всегда, с новой девушкой!

Этот тип, сколько ни встречал меня одного, делал вид, что не замечает, но увидит с женщиной — сразу подкатит: «Привет! Как дела?».

Но она, молодчина, сразу торопливо вмешалась:

— Извините, нам нужно поговорить.

Я взял себе кофе, ей — яблочный сок. Она, как и обещала, начала рассказывать о себе, о своем таежном поселке, про деревья, прокаленные солнцем, про труднопроходимые тропы и свежескошенные луга, про то, как она учительствует в сельской школе, про своих братьев — «невозмутимых мужчин», которые «никогда не говорят обиняками».

— ...Они сдержанные, понимаешь? Понимаете? — пояснила она. — Не то что городские мужчины, балаболы... А вот мой отец, — она достала из сумки фотографию, и ее лицо просветлело.

На фотографии был высокий прямой мужчина с бородой; в одной руке держал ружье, другую положил на голову лохматой собаки.

— Отца все уважают, — притихшим голосом сказала она, — потому что он справедливый и добрый... Он личность, в нем есть то, чего нет в других, что свойственно только ему.

Она смотрела на снимок, как на икону, и, судя по пронизательному взгляду мужчины, делала это не зря.

— А рядом с ним наш Буран. Он отважный, ни секача, ни медведя не боится. И он красивый. Видишь, какая у него длинная седая шерсть?

Она совсем перешла на «ты».

— Он однажды спас мне жизнь. Мы тогда шли на лодке по порожиному притоку. На моторе. Отец, Буран и я. Был сильный ливень, и отец соорудил на лодке навес, натянул брезент, чтобы нас не заливало. Мы шли около отвесного берега. Вдруг услышали гул и поняли: приближается обвал. Отец взял на середину реки, но мы не успели: часть берега отделилась и рухнула в воду. Лодку подкинуло, перевернуло, и она быстро погрузилась. Я оказалась в брезентовом мешке, как в ловушке. Вокруг глина, камни, представляешь? У борта была воздушная подушка, в ней я и дышала. Выход из брезента находился где-то подо мной. Я нырнула в грязь, нащупала выход, выбралась, а там камнепад, бревна плывут, ветви... Один камень попал мне в голову, и я потеряла сознание... Потом отец сказал, что меня Буран вытащил... Представляю, какие мы были, в грязи и глине, как черти, — она впервые улыбнулась.

У нее была хорошая, открытая улыбка, она по-новому осветила ее лицо. Эта внезапная улыбка выдала в амазонке женственность и добросердечие.

— Я очнулась на берегу, — продолжала она. — У нас все утонуло, а стояла осень и холод был лютый. Но у отца в кармане всегда был загошник — непромокаемый кисет со спичками. Он развел костер. В ливень это трудно. Представляешь, кругом потоки воды и грязи, но он нашел место

под елью, уложил прутья, поджег, раздул, костер занялся, и сразу на душе как-то радостно стало. А это наш дом.

Она показала еще одну фотографию, на которой был добротный сруб с крыльцом и резными наличниками.

— У нас чистое жилье... С утра мои мужчины уходят на охоту, я навожу чистоту, готовлю — все как положено: мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага.

— А где ваша мать?

— Умерла, — она глубоко вздохнула и убрала фотографии. — Умерла, когда я была совсем маленькой.

Ей явно не хотелось вспоминать об этом, и я пришел ей на помощь:

— У вас, наверно, зимой отлично?

— У нас зимой необыкновенно, — мечтательно произнесла она и снова улыбнулась. — Все укутано снегом, зарисовано. А морозы бывают! Вам такие и не снились. Ночью воздух так промораживается, что избы трещат. У вас здесь чуть двадцать градусов, все боятся нос на улицу показать, занятия в школе отменяют. А у нас под сорок, но ребята бегут. Даже радуются морозу... Бывает, конечно, пурга, снежная круговерть, но редко. В основном у нас тихо. Снег падает, сугробы множатся... Солнце появится над тайгой, и все расцветивается. Необыкновенно красиво, такого нигде не увидишь.

— Да, — согласился я, окончательно решив приехать в тайгу.

По пути к общежитию она некоторое время выпрашивала о моей жизни, потом рассказывала о своей работе в школе. За разговорами я несколько раз пытался ее обнять, но она каждый раз отстранялась и смотрела на меня с каким-то монашеским укором.

Мы остановились около общежития, и она внезапно смолкла на полуслове, потом посмотрела долгим взглядом и вдруг порывисто поцеловала меня и исчезла за дверью. Я уже ничему не удивлялся.

Возвращаясь домой, я невольно сравнивал ее с другими знакомыми женщинами: она была чище, искренней, прямодушной всех.

Я пришел в кафе раньше времени. Она уже сидела за крайним столом и нетерпеливо посматривала на вход. Ее лицо было непроницаемо, но по блеску глаз я догадался — ее что-то тревожит.

— Я давно здесь, — тихо сообщила она и добавила с обескураживающей прямоотой: — Из-за тебя. Сегодня ночью я поняла — ты назначен мне судьбой... Трудно представить более разных людей, но... кто знает... Я должна тебе кое-что сказать...

Она глубоко вздохнула, как бы собираясь с мыслями.

— Я завтра уезжаю... У нас с тобой сейчас нет времени на привыкание друг к другу, но знаешь, как бывает... До тебя я только два раза увлекалась... Первый раз обратила внимание на учителя в школе. Я тогда была совсем девчонка... Второй раз мне понравился один сокурсник в Иркутске, но он оказался с мелкой душой... И вдруг ты... В тебя я влюбилась... Это самая большая глупость, какую я только могла совершить в Москве. Если хочешь, поедем к нам. Поживешь у нас, если не приживешься, уедешь. Я не буду в обиде...

Все это она сказала вполне осознанно. Видимо, по ее понятиям, женщина вправе первой признаваться в своих чувствах, но я-то не ожидал такого поворота и понял, что накануне принял опрометчивое решение. Я подумал, что ради нее придется изменить свою жизнь, многим пожертвовать.

«Одно дело — съездить в тайгу на несколько дней, другое — поселиться там на неопределенное время», — рассуждал про себя. Я кое-куда ездил, но всегда знал, что за спиной остается Москва, и только на минуту представил, что живу в глухомани, без привычной городской сутолоки, без мелькания знакомых лиц, без кафе, где каждый вечер убивал время, и меня передернуло от озноба.

— Конечно, тебе не повезло — ты встретил однолюбку. Я собственница — хочу иметь или все или ничего... Я готова принадлежать мужчине, но чтобы быть для него единственной, и чтобы наши отношения были настоящими, без всякой фальши... У нас ведь любят навечно...

После таких слов я почувствовал сильную опасность нашего сближения. И главное, она явно завывала меня, влюбилась в придуманного мужчину. Она и не догадывалась, что я намного слабее, слабее даже, чем она. Я только подумал об ответственности за все дальнейшее, и сразу меня охватило предательское беспокойство.

— Тебе у нас понравится, вот увидишь. А уж писать там есть о чем... Потом, если мы сможем жить вместе... поженемся. Я буду хорошей, верной женой...

Она уже представляла эту истинную любовь, а меня все больше парализовывала трусость.

— Оставь адрес... Я приеду, — промямлил я и отвел глаза в сторону.

## НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Многие любят стрекоз, бабочек и певчих птиц. Это понятно — как не любить такие чудеса природы! Я тоже их люблю, но с детства люблю и навозных жуков, пиявок, тараканов и пауков, и особенно — мышей, лягушек, змей, а с юности — и крыс (как говорил Д. Дарелл, «все животные прекрасны»). По-моему, крысы самые умные животные на земле, совершенно не оцененные людьми, гонимые, вызывающие панический страх, а между тем — заслуживающие всяческого восхищения. И в смысле приспособляемости к среде обитания им нет равных. Не случайно существует прогноз — после атомной войны, если она не дай Бог разразится, уцелеют только они, да еще тараканы.

В умственных способностях крыс я убедился в молодости, когда не имея прописки, перебивался случайными заработками и ночевал где придется. Как-то две недели коротал ночи в подвале дома, где производился капитальный ремонт; дожидался ухода рабочих, тащил доски в подвал и делал что-то вроде лежака-настила; утром ложе разбирал, чтобы рабочие ничего не заподозрили и не вызвали милицию — за проживание без прописки могли выслать и даже осудить.

В подвале я зажигал парафиновую свечу и готовился к вступительным экзаменам в институт. Однажды прилег на доски, зачитался и не заметил как у моих ног появилась крыса. Я увидел ее в тот момент, когда решил размять затекшую руку и оторвался от учебника. Крыса сидела на задних лапах и зачарованно смотрела на свечу. Не на меня, на свечу! Только когда я пошевелился, она перевела взгляд на меня и принялась, смешно задергав носом, но не испугалась, не прыгнула с настила, даже позы не изменила.

Некоторое время мы с интересом изучали друг друга. В полутора метрах от меня сидело довольно симпатичное существо величиной с белку, но более пузатое. У существа были розовые лапы, длинный голый хвост и глаза-бусинки. Больше всего меня поразила поза «столбик» — крыса как бы демонстрировала свою бурую шерстку, которая, действительно, выглядела отлично, даже искрилась в темноте. Эта поза, зачарованный взгляд и полуоткрытый рот, за которым виднелись белые зубы, придавали крысе выражение удивления и восторга одновременно.

Я легонько посвистел, давая понять, что готов установить дружеский контакт. Крыса спрыгнула на цементный пол, немного отбежала, но все-таки осталась в освещенной части помещения. Я негромко почмокал и кинул ей кусок хлеба от бутерброда, который припас себе на завтрак. Крыса юркнула в темноту и я подумал, больше она не появится. Но через полчаса услышал шорохи, взглянул на пол, куда бросил хлеб, и увидел свою знакомую за трапезой. Она ела аппетитно и аккуратно, придерживая хлеб передними лапами, изредка посматривая в мою сторону, а покончив с едой, долго и старательно «умывала» мордочку, то и дело наклоняясь — это я воспринял как раскланивание, некие благодарные реверансы в мой адрес. Закончив туалет, крыса подбежала ко мне на расстояние вытянутой руки, вся подавалась вперед, привстав на носки и пискнула.

— Что ты хочешь красавица? — спросил я, немало удивляясь мужеству ночной визитерки — наверняка, я для нее представлялся неким ископаемым чудищем. «Впрочем, — подумал я, — может быть она уже привыкла к людям, а может и вовсе ручная».

Крыса пискнула вновь и до меня дошло, что она еще просит еды.

— Ладно уж, — пробормотал я, — в честь нашего знакомства, так и быть, — и щедрым жестом протянул крысе ломтик сыра.

Она попятилась, но учуяв лакомство, осторожно подошла вновь; долго водила носом из стороны в сторону, шевелила тонкими усами, сопела, но брать сыр из рук не решалась. «Возьмет, когда привыкнет», — подумал я и бросил ломтик на пол.

Самое интересное началось после того, как крыса слопала сыр. Видимо, не часто ей доставались такие деликатесы и, как бы благодаря меня за пиршество, которое я ей устроил, она начала... танцевать! Винтообразно крутиться на одном месте, при этом искоса посматривала на себя, как бы любуясь своей грацией. Это было потрясающее зрелище — я даже протер глаза, чтобы удостовериться, что мне не снится это представление.

Оттанцевав, крыса спохватилась, что забыла «умыться» и стала торопливо лизать лапы и гладить мордочку. А потом эффектно попрощалась со мной — сделала великолепный высокий прыжок и исчезла в темноте.

Она появилась и на следующую ночь. На этот раз я угостил ее двумя кружками колбасы, заранее купленной специально для нее. Первый кружок она съела с пола, а второй, неожиданно даже для меня, взяла из руки — быстро схватила и отбежала в сторону.

Снова, как и накануне, после ужина, вернее полуночной трапезы, она сосредоточенно «мыла» мордочку и живот и бока, и все время смотрела на меня, желая убедиться, что ее ритуал чистоплотности не останется не замеченным. А

потом она вновь «вальсировала» и, как и в предыдущую ночь, красиво покинула мою обитель.

На третью ночь Лина, как я назвал крысу, привела детенышей — пять юрких крысят, которые, пугливо озираясь, робко, чуть ли не на животах подползли к лежаку. Я не рассчитывал на такую ораву и пришлось два бутерброда, которые у меня имелись, делить на шесть частей. Но неожиданно Лина свою долю есть не стала, даже отошла в сторону, давая понять, что уступает еду детям.

Перекусив, крысята с невероятной быстротой обследовали помещение, убедились, что в нем нет ничего опасного, а у их матери со мной вполне дружеские отношения, и затеяли невероятную возню. Они с писком носились из угла в угол, хватали друг друга за хвосты, кувыркались, вытворяли немыслимые акробатические прыжки.

Лина внимательно наблюдала за этими играми. Иногда бросала на меня взгляд, полный гордости за таланты своих отпрысков, но если кто-либо из них забывался и начинал вести себя, по ее понятиям, чересчур неприлично или слишком больно кусал собрата, подскакивала и трепала проказника за загривок. В этом воспитательном этюде я заметил один немаловажный нюанс — после трепки крысенок некоторое время лежал на спине, задрав лапы кверху, как бы извиняясь перед матерью за свой проступок, а позднее, включившись в игру, вел себя уже намного тише.

«Не мешало б людям перенять подобное поведение, — думал я. — А то мать отчитывает ребенка, а он огрызается». Кстати, наблюдая за крысиным семейством, я сделал немало и других, быть может сомнительных, выводов. «Говорят, крысы разносят заразные болезни, — размышлял я. — Но ведь если что-то есть в природе, значит оно и должно быть,

значит эти болезни что-то уравнивают... Говорят, крысы нападают на человека. И правильно поступают, если человек хочет их убить. Они защищаются, борются за жизнь. Надо уважать смелых, достойных противников!».

Через несколько дней крысята настолько освоились в подвале, что стали бегать и по мне; они уже появлялись, когда я подавал условный сигнал — переливчатый свист, а Лина отзывалась и на кличку; я уже всех крысят различал «в лицо» и даже принимал некоторое участие в их играх: подкидывал на пол шарики из бумаги, щепочки, а иногда пугал, издавая «мяуканье» или собачий лай, чтобы крысята не теряли бдительность.

И вот в этот пик нашей дружбы, объявился глава крысиного семейства — тощий, весь в шрамах, крыс. Это был серьезный, крайне недоверчивый тип. Похоже, наученный горьким опытом общения с людьми, он ни разу не приблизился к моему лежаку и даже не вышел на середину подвала. Недолго постоит в темном углу, пристально осмотрится и уходит. Но как только он появлялся, Лина подсакивала к нему и с немой обожанием взирала на своего благоверного. Казалось — она готова выполнить любое его поручение, он был для нее гением, не иначе. И крысята моментально прекращали игры, тесно окружали отца и, расталкивая друг друга, пытались дотянуться до него, ткнуть носами его лапы, как бы засвидетельствовать глубочайшее почтение.

Он появлялся всего два раза; оба раза я делал попытки наладить с ним хотя бы приятельские отношения, подходил с колбасой и сыром, но он сразу пресекал мои потуги: угрожающе пронзительно пищал и выставлял лапы вперед, — показывал, что может цапнуть за руку.

В одну из ночей крысы не появились. «Странно», подумал я, а под утро проснулся от бульканья — весь подвал был затоплен, около лежака плавали мои ботинки. Когда прошел ливень, я не слышал — в те дни сильно уставал от мытарств и спал крепко; час-другой покорплю над учебниками, пообщаюсь с крысами и отключаюсь.

Я вышел из подвала как обычно, часов в семь, сложил доски у забора и вдруг увидел в мутной канаве, среди водоворотов и размытой травы, плывут мои крысы: впереди крыс, за ним Лина, за ней, словно живая цепочка, крысята. Они благополучно пересекли канаву и начали отряхиваться на глинистом склоне. Я поприветствовал их свистом и они явно узнали меня, несмотря на то, что мы впервые встретились вне подвала и на свету. Узнали меня по свисту — на секунду перестали отряхиваться, принохиваясь, вытянули мордочки и снова спокойно продолжили «отряхивание».

К вечеру вода в подвале спала, но крысы появились только на следующий день, когда цементный пол просох. У нас была замечательная встреча: крысы долго смаковали мои съестные припасы, а потом мы долго играли, очень долго, как никогда.

Рано утром меня разбудил грохот грузовика. Выглянув в проем двери, я увидел двух мужчин в «спецовках»; перекидываясь смачными словечками, они разбрасывали вдоль фундамента куски мяса.

— Заодно потравим и собак, и кошек, — донеслось до меня. — Развели, мать твою, всякую нечисть... Людям жрать нечего, а они собак колбасой кормят... Ловили б крыс, да кормили б ими... Они жирные твари... Боятся крыс-то, мать твою... нас вызывают...

Разбросав мясо, мужики сели в «газик» и уехали.

Я выскочил из подвала и начал лихорадочно собирать отраву. Собрал все куски, закопал в яме, сверху обложил кирпичами, а вечером выяснилось — все же дал маху.

Подходя к подвалу, я стал свидетелем жуткой сцены: Лина с крысятами вертелась вокруг куска мяса, но к нему их не допускал крыс. Вялыми движениями, заваливаясь на бок, он отгонял свое семейство, отгонял из последних сил. Было ясно — он уже отведал отраву. Мне осталось несколько шагов до места трагедии, когда его забила судорога, он опрокинулся на спину и затих.

Отгонять Лину с крысятами не понадобилось — она сама все поняла — раскидала крысят, что-то зло пропищала и куда-то увела своих несмышленишек.

Больше она не появлялась. Может быть нашла другое, более безопасное жилье, может посчитала, что я причастен к смерти ее крыса, может просто решила не доверяться мне больше, поскольку я, хотя и друг, но все-таки представитель самой жестокой касты на земле. Почему именно — не знаю.

## **ЗАКРОЙ ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ**

**или**

### **ПРИВЕТ С КЛАДБИЩА!**

Этот старый брюзга всем действовал на нервы, один его вид вызывал отвращение: вечно небритый, мрачный, старомодный, в бессменном залатанном пиджаке, с рваным зонтом — мамыши им пугали детей... Ему до всего было дело, он постоянно искал предлог к чему либо придраться, в оскорбительной форме отчитывал за малейший промах: и дворник плохо убрал мусор во дворе, и автомобилисты слишком чадят гарью, и подростки не в том месте гоняют в футбол, да еще разорались, и молодежь запустила не ту музыку. И не там, где надо, выгуливают собак, и вообще все дураки, живут не по правилам, все перевернули вверх дном, с ног на голову поставили. Этот горячий старикан в пределах двора издавал ошеломляющие указы, направо и налево сыпал ругательства, чуть ли не кулаками заставлял жить благочестиво; и никто не мог противостоять его гневу, но не потому что его боялись, просто не принимали всерьез.

А между тем, в его злости была повышенная требовательность и доля справедливой правды.

— Ты, Алексеич, совершаешь ошибку, так сказать... Живешь прошлым, — мягко говорил его закадычный друг Петрович («последний романтик», «кремлевский мечтатель», как ехидно называл его Алексеич. В свою очередь Петрович, посмеиваясь, называл друга «последний пират» и «дотошный аналитик». Первый старик был сухой, сутулый, непоседливый и вспыльчивый, второй — тучный, неповоротливый меланхолик).

— Большую ошибку, — очень мягко говорил Петрович. — Пойми, жизнь ушла далеко вперед, а мы с тобой остались

позади. Ноль эмоций! Забудь, как было. Так сказать, закрой дверь в прошлое, его не вернешь, оно пересыпано нафталином.

— Все было по-людски, а сейчас что? Разбойничье время! Глаза б мои не видели, мать их так!.. — дальше Алексеич с особой выразительностью изрекал отборные ругательства, морщины на его лице превращались в борозды и трещины, подбородок вытягивался, спина распрямлялась.

— Не спорю, было больше душевности и порядка, больше эмоций, — когда Петрович волновался, его лысина покрывалась красными пятнами; в спокойном состоянии его роскошная лысина, в обрамлении седых волос, светилась как подсолнух.

— То-то и оно. Вспомни, какие мы были, когда начинали. А сейчас молодежь наглая, никакого уважения к старшим. А им еще рано с нами тягаться, им еще надо ого как побороться, чтобы сделать столько полезного, сколько сделали мы, не так скажешь?

— Справедливо говоришь, — пыхтел Петрович. — Надо бы с детства прививать нравственные понятия. С твоего разрешения приведу один случай. Я здесь одних пацанов встретил у речки. Слоняются без дела, стреляют покурить. Я им говорю: «Что ж вы, ребята, дело себе не придумаете? Построили бы плот, сплавали по речке до Оки, заночевали у костра, так сказать, потом все описали б в дневнике». А они посмотрели на меня, как на дурака, как на выжившего из ума. Ноль эмоций! Присвистнули и убежали...

— Ясное дело. Плот, дневник — ишь чего захотел! Романтик! Да, у них план на ночь — что-нибудь своровать! Они уже все с гнильцой!.. Разбаловался народ. Грабят, уби-

вают средь бела дня. А почему? Власть безмозглая, хилая. Поставили бы к стенке парочку и другим было б неповадно.

Дальше Алексеич переключался на «власть имущих» и давал беспощадные сокрушительные оценки их действиям.

— ...Они все карьеристы, безнравственные прощелыги. Кричат: «Общие интересы должны взять верх над личными», кричат об общем деле, объединяющей идее, а втихую обстрипывают свои делишки, тянут деньги из общего горшка, мать их так... Себе-то они уже построили коммунизм, набатарбанили всего, а нам дали в зубы мизерную пенсию, и крутись, как хочешь.

— Рано или поздно к власти придут умные люди, — говорил Петрович. — И начнем процветать, а душа понесется в рай!

— Что ты талдычишь, кремлевский мечтатель! Ни черта хорошего не будет. Если хоть малость и будет, плюнешь мне в глаза.

Петрович пытался успокоить друга, говорил о «всеобщем великом законе», о том, что все идет по кругу и вскоре встанет на свои места. Пока «дотошный аналитик» и «последний пират» как бы раскручивал маховик двигателя пиратского судна, «кремлевский мечтатель» и «последний романтик» стоял на капитанском мостике и направлял корабль в спокойное русло.

— Не сгущай, Алексеич, не ворчи. Где восторг души? И не забывай, не только нас кое-что раздражает, но и мы, так сказать, кого-то того, раздражаем. Ты старайся видеть светлое, радостное. Посмотри, взглядишь внимательней, оно, радостное, есть. И погодка веселая, радостная... Каждое время имеет свои радости, свои песни, так сказать. Я, к примеру, начал писать стихи. Это моя радость, душа несется в рай!

Некоторое время Алексеич молчал, отходил от своего разрушительного настроения, только сопел и кашлял, потом изрекал:

— Ты что, совсем того... спятил? Вот ястребок! Как был романтик, так и остался. Надоели твои байки. Посмотри на себя, ты уже покрылся пятнами, жировиками, бородавками — это ж привет с кладбища, а он стихи!

— Ноль эмоций! А я не чувствую себя старым, — спокойно парировал Петрович. — Мне и на вид пятьдесят, а на самом деле стукнуло сам знаешь сколько... Так сказать, старость наступает, когда перестаешь удивляться, а я не перестаю. И на женщин обращаю внимание и, по-моему, еще кое-что могу, так сказать.

Это было поэтическое преувеличение, но Алексеич резко возмущался, точно сразу покрывался колючками.

— Ладно врать-то, болтун! Жуткий болтун!

— Клянусь своей лысиной, жадно наблюдаю за женщинами!

После клятв Петровича перед глазами расцветало поле подсолнухов, в отличие от клятв Алексеича, типа «Клянусь своей смертью!» — после которых перед глазами вставали горы мертвецов.

— Я тебе не верю и никогда не верил, — сурово говорил Алексеич, но все-таки откровения друга задевали его, он доставал папиросы, закуривал.

— И знаешь, что я заметил? — оживленно продолжал Петрович, не обращая внимания на суровые слова друга. — С годами все женщины кажутся красивыми. Но вот в чем дело: раньше мог спать с любой, а теперь только по любви.

Вот так плавно, Петрович переводил разговор с политики на женщин, выводил корабль из моря житейских бурь в

спокойное романтическое море; как у многих натур творческого склада, женщины были его излюбленной темой. Больше того, он еще надеялся жениться.

— Кому ты, пьющий, нужен? — хмыкал на это Алексеич. — Только бабе, которая тоже пьет. А такая тебе не нужна.

Жена Петровича умерла несколько лет назад; это была высокая, худая, крикливая старуха, соседи звали ее «скандалистка» и «нахалка», и всячески сочувствовали Петровичу, особенно когда он отпраплялся в магазин со списком жены «что и сколько купить», а потом отчитывался до копейки. Разумеется, мудрый Петрович с полочки оставлял себе некоторую сумму для выпивок с Алексеичем, а дома делал заначки — прятал четвертинки на антресоле. Случалось, жена чересчур наседала на Петровича: пилила, что его «ничем не проймешь», что он «дубина», что от него несет вином и табаком, и потому пусть идет спать в другую комнату. Ради мира в семье Петрович отшучивался, звал собаку и шел с ней спать на раскладушку — пес любил хозяина в любом состоянии и считал за счастье поспать с ним. Тем не менее, когда Петровича мучили почки, боли в пояснице, жена ставила ему банки и горчичники, делала припарки и массаж, конечно при этом пилила его с удвоенной силой.

В память о жене у Петровича осталось несколько фотографий; когда-то супруги были запечатлены вместе, но однажды, разгорячившись, жена отрезала Петровича (в горячке она делала недальновидные ходы), правда, на снимках кое-где его рука осталась на ее плече, бедре...

Жена Алексеича имела смехотворную, карикатурную фигуру, основной частью ее тела был бюст, огромный бюст, который его владелица несла с невероятной гордостью, со стороны казалось — она идет сама по себе, а бюст плывет

отдельно. Этот бюст и сразил наповал сурового мужчину, демобилизованного Алексеича. Несмотря на полноту и столь тяжелую приметность, жена ходила довольно легко, почти как пушинка, и отличалась веселым характером, во всяком случае никогда не перечила своему грозному мужу, стойко переносила его приступы агрессивности — последствия контузии на войне, и с улыбкой относилась к его выпивкам с Петровичем.

— Мужчины как дети, их надо опекать, — говорила она. — Я думаю, раз мужчина пьет, значит здоровье позволяет.

— Женщине не надо думать. Главное в семье что? Чтоб женщина не мешала, — бурчал Алексеич, давая понять, что держит власть в семье крепко.

Ему жена не только не мешала, но и служила громоотводом, на ней Алексеич разряжал всю накопленную за день злость; жена расплачивалась за его «загубленную молодость», за то что «сидит у него на шее», за дураков на работе и дураков во дворе, и дураков в правительстве, которые устроили «сволочную жизнь». Выпивши, Алексеич прямо рычал от ярости, ходил по квартире все сокрушая на своем пути, с ненасытной жестокостью бил кулаком по столу, пинал стулья — его власть переходила в произвол; бывало, распространял свою злость по всему дому — она, как липкая смола, стояла в воздухе. Пьяный Алексеич бесновался, вел себя как деспот, при этом весь дом гудел от его ругательств. И жена все терпела, даже с некоторым юмором подсчитывала количество ругательств, а на утро предъявляла супругу счет: одно ругательство — один рубль; обычно, к концу месяца у нее набиралась приличная сумма. Сын Алексеича, закончив школу, уехал на север, «убежал от са-модура отца», как говорили соседи.

С женой Алексеич прожил двадцать лет, после чего развелся; Петровичу объяснил свое решение крайне бестолково: «надоела безмолвная тумба, надоело вдалбливать что к чему, надоело все. Хватит!».

— Ну, если умерли отношения, то чего копать в причинах, они все равно умерли, душа понеслась в рай! — вздохнул Петрович.

Вторично Алексеич женился на еще более толстой и грузной женщине, но характер у нее был под стать мужу; она не захотела держать дом «в строжайшем порядке», не захотела, чтобы ее «насильно делали счастливой», не захотела «видеть пьяную рожу», да еще постоянно унижала мужское достоинство Алексеича — у них ссоры доходили до драк. Через два года они, вдрызг разругавшись, подали на развод.

...Как только Петрович выводил разговор в спокойное романтическое море, да еще вспоминал героическую пору своей жизни, начинал хвастаться любовными победами в молодости, Алексеич вскипал:

— Перестань, старый черт! Послушаешь тебя, так все бабы бросались тебе на шею и ты сразу тащил их в постель. Не хочу о них говорить, все они стервы... Меня вот сейчас обхаживает соседка, то супчик принесет, то готова постирать. Была бы рада, если б меня болезни скрутили, перебралась бы ко мне, ухаживала, а потом, смотришь, вообще осталась, знаю я их. Им только и надо — деньги, да мужское начало, грот-мачта до колена.

— Осмелюсь тебе напомнить, — улыбался Петрович, — когда ты был женатый, ходил, как огурчик и бессонницей не страдал, а сейчас, так сказать, имеешь отталкивающую внешность, опускаешься, ходишь небритый, пиджак не мо-

жешь новый приобрести. Можно подумать, так поиздержался... (Сам Петрович достаточно следил за своей внешностью, ему было безразлично, как он выглядит в глазах знакомых).

— Чего ты мелешь?! Опускаешься! На себя посмотри, — Алексеич швырял папиросу. — Да в своей квартире я поддерживаю чистоту, у меня полный порядок, все вещи на месте, не то, что было при бабах — завалят все своими шмотками, все вещи не там лежат, где надо.

— Позволю себе с тобой, Алексеич, не согласиться, пытаюсь объяснить еще раз. Мы с тобой одинокие старики, так? Это против природы. Где восторг души?! А все должно быть по природе. Счастье в семье, детях, внуках...

— Доживать надо в одиночестве, — говорил Алексеич — чтоб спокойно умереть, не досаждая родственникам.

— Нет, доживать в одиночестве — неприятная штука. И завтракаешь и ужинаешь в одиночестве, да все кое-как, урывками, и не с кем поделиться мыслями и прочее...

— Иди в богадельню, там и обеды и ужины, там это даже постоянно в центре внимания, как в санатории, противно. Там есть и потрепаться с кем, иди! А через неделю взвоешь и окочуришься от скуки. И потом, чего ты, Петрович, все нажимаешь на жратву, печешься о своем здоровье? Бес-смертным, что ли хочешь быть? Я вон притащил мешок фасоли и всю зиму ел одну фасоль. А ты вообще многовато рубаешь, смотри как тебя разнесло. Я как-то представил, что ты на моих похоронах набиваешь себя, сразу решил не умирать, хе!

Довольный своей глобальной проницательностью, Алексеич снова доставал папиросы (в ответственные моменты

он всегда закуривал; Петрович курил только после обильной выпивки).

— Я ем не больше, чем ты, — обижался Петрович (как многие старики, он был крайне обидчив). — А моя полнота — это больные почки, да и весь организм барахлит. Покалывает сердце, не могу спать на левом боку, весной и осенью скручивает радикулит... Вчера вышел на кухню, а зачем забыл. Стою, никак не могу вспомнить. Тогда вернулся в комнату, увидел папиросы, вспомнил — пошел за спичками. Это уже склероз. Ноль эмоций! Да, что там! Ведь и тебя мучает контузия, нападает бессонница — стариковский набор болячек, так сказать. Но поглотаешь таблетки и вроде отпускает, верно? А вот как быть, когда болезни прищучат по-настоящему, кто подаст стакан воды?

— Сам доползу, — мрачно бросал Алексеич. — Зато хоть дома нет нервотрепки.

— Сейчас может и доползешь, а потом? Время-то быстро течет, не хуже меня знаешь.

— Когда потом? Сколько ты жить собираешься? Забрось свои бредовые планы о женитьбе, кремлевский мечтатель. По скандалам скучаешь? Забыл свою скандалистку? Грех о покойнице так говорить, но это ж факт.

Петрович отдувался, пыхтел, вытирал лысину.

— Характер у нее был сложноватый, но понимаешь, мы вместе много пережили и это нас сблизило, так сказать, привязало друг к другу, но ее душа понеслась в рай!..

— Брось! Вспомни моих краль. Да если б я свалился, они перешагнули б через меня и завели б нового мужика... Жена нужна только для одного — чтоб было с кем поругаться. А дети, кстати, чтоб кого лупить... Я своего балбеса в свое время мало лупил. Вон прошло сколько времени, а отцу

прислал всего два письма. А что стоит черкнуть пару слов: «Как отец сам-то? Каково на душе?». Он взял только плохое и от матери, и от меня... Разведка донесла — матери все ж пишет каждый месяц, — что-то вроде боли и горечи появлялось в голосе Алексеича, он шмыгал носом, нервно покашливал, но тут же брал себя в руки. — Все они эгоисты. Жизнь избаловала, время такое поганое. Когда об этом думаю, у меня болит сердце.

— А моя дочь частенько пишет, — растягивая слова говорил Петрович. — Прислала фотографию внука, хороший такой мальчуган. Да, ты ж его видел, когда они в позапрошлом году приезжали... Мой зять-то военный, вот и мотаются они по стране, так сказать, не имеют своего угла. Ноль эмоций!

Приблизительно так, с небольшими вариациями, протекали беседы двух стариков с большим жизненным опытом, но временами их разговор напоминал пререкания составившихся детей. Разумеется, эти беседы проходили за бутылкой водки, поочередно: то у «пирата», то у «романтика». Как правило, одной бутылкой не обходились и, если магазины уже были закрыты, покупали водку у таксистов.

По утрам, после дружеской попойки, они ловили свой стариковский кайф: пили холодное пиво с селедкой, покуривали где-нибудь в холодке, где обдувал ветерок. Днем перезванивались по телефону и, если один чувствовал недомогание, другой приходил, массировал предплечья, поясницу и тогда недомогавший ловил дневной кайф. На исходе дня, перед выпивкой, у каждого был свой вечерний кайф. Алексеич выходил на балкон «подышать вечерним воздухом», но дотошно изучив обстановку во дворе, заводил и встречался с другом уже прилично взвинченным,

точно побывал в аду. Петрович по вечерам, с сияющим благодушием на лице, прохаживался по улицам, вежливо раскланивался со знакомыми, улыбался женщинам, и обычно на встречу с Алексеичем возвращался в приподнятом настроении, словно получил билет в рай. Но иногда Петровичу казалось, что «где-то происходят интереснейшие события» и он отправлялся в бесцельные поездки в автобусе и на метро, и тогда очень быстро замечал, что он самый старый в транспорте, что вокруг молодой мир, красота и радость, люди с максимальной полнотой используют время, а он потерял привычные ориентиры, его система ценностей распалась, у него нет будущего. Всегдашний оптимизм покидал Петровича.

— Мое время тихо умирает, — усмехался он. — Я просто-напросто прозябаю, даже не могу найти новую жену. Но может это возрастной кризис, он пройдет и наступит вос-торг души?!

После таких грустных поездок на встречу с другом Петрович являлся потухший и серый, словно увядший подсолнух, и когда Алексеич «полыхал», его реплики носили сдавленный характер. Но за второй бутылкой Петрович непременно оживал. Собственно, и Алексеич за второй бутылкой уже не «полыхал»; порядком размякший, он ударялся в воспоминания — перед ним вставали погибшие на фронте друзья; Петрович в свою очередь вспоминал своих боевых товарищей. Эти воспоминания для обоих были слишком властными, они сжимали сердце, вызывали слезы; из того времени ничто не ушло — все осталось в памяти.

Позднее Алексеич углублялся в еще более далекие дебри — отправлялся за воспоминаниями в довоенное время — как давно погибший мир вспоминал продукты и напитки,

которых теперь в магазинах и не увидишь, добротную мебель, а не «фанеровки», изделия из настоящей кожи и хлопка, а не синтетику.

— Да, много хорошего и радостного было в той поре, — Петрович припоминал парады спортсменов, танцы под патефон во дворе и под духовой оркестр в Парке культуры и отдыха...

Старики доставали пожелтевшие фотографии, их снова тянуло к давним знакомым, с которыми когда-то общались; Алексеич готов был прямо сейчас броситься на их розыски, обзванивать, писать письма, хотел вернуть прошлое, но Петрович его останавливал, говорил, что по слухам, одни из тех знакомых умерли, другие погибли во время войны, третьи переехали куда-то, четвертые так изменились, что с ними и встречаться не стоит.

— ...Тут одного встретил, он стал такой важный. Ноль эмоций! Разговор не получился... Я все размышляю, интересно, как люди будут жить через двадцать-тридцать лет? Может, отношения между людьми, так сказать, бескорыстная дружба, снова выйдет на первый план, душа понесется в рай?! Ведь добром заражаешься быстрее, чем злом...

— Так, как было, уже не будет, — категорично говорил Алексеич. — За нами, нам на смену идет мелкий народ. Клянусь своей смертью, одна мелкота! Все умные, все знают, но знают-то понаслышке, да из газет, а мы-то по опыту... И думать не хочу, что будет, когда нас не станет... Здесь один молодец мне, знаешь что сказал? «А чего вы воевали-то! Если б не Сталин, и войны бы не было. И вообще, на кой хрен делали революцию, строили коммунизм? При царе жилось лучше». Видал, мать его так!.. Получается, мы прожили зря.

— Все сгорело, костры угасли, золу разметал ветер, — поэтично говорил Петрович и вздыхал. — Да, в нашем возрасте опасно предаваться размышлениям, ничего хорошего в голову не приходит, почему я и говорю, надо закрыть дверь в прошлое, чтоб не расстраиваться. Ноль эмоций!

Среди фотографий была одна, особенно дорогая старикам; на ней они совсем молодые вихрастые пареньки сидели на скамье обнявшись, руки лежали на плечах друг друга, оба смотрели в объектив и улыбались; тогда они, вчерашние школьники из провинции, приехали «попытать счастья в столице». Глядя на эту фотографию, и Алексеичу и Петровичу было ясно, что они знакомы не двадцать, не тридцать и даже не сорок лет, и что им суждено до самого конца оставаться вместе.

— Все то было мальчишество, — усмехался Алексеич, имея в виду тогдашние их планы. — Жизнь круто все изменила.

— До возраста Христа все мальчишество, да, собственно, и после тоже, — философски изрекал Петрович. — Это только война, так сказать, внесла свои коррективы, сделала взрослыми.

— Это точно, — кивал Алексеич. — Возьми сейчас, наш последний отрезок жизни, все вернулось к изначальной точке, к тому, с чего мы начинали: опять одни, обедаем в дешевых забегаловках, все имели и все растеряли... скоро дадим дуба и никто не вспомнит.

— Смотри веселей! Дети, внуки вспомнят, — откликнулся Петрович. — Я здесь написал стихи об этом. Вначале думал, так сказать, для внутреннего пользования, а потом подумал: пусть и другие читают, и послал стихи в журналы...

— А-а! — отмахивался Алексеич. — Я вот что... иногда закрываю глаза и вижу себя молодым, все еще впереди, как будто то, что было — сон. И ведь было всего немало, а промелькнуло, как сон...

— Бесспорно, жизнь оказалась намного короче, чем мы предполагали, но, ничего, кое-что еще есть впереди, — улыбался неунывающий Петрович.

Старики расходились в полночь, и тот, у кого выпивали, по заведенному еще в молодости порядку, провожал друга до полпути к дому (именно с молодости они и выпивали, с перерывами на известные события; правда, в молодости пили лучшие напитки, но удар по-прежнему умели держать, то есть не так пьянели, как современные собутыльники).

Вторую половину пути каждый проходил по-своему. Алексеич шел тяжело, словно нес на плечах всю тяжесть мира, разговаривал сам с собой, бичевал себя, что немногого достиг в жизни, не полностью реализовал свои возможности, планировал как бы достойней встретить смерть. Случалось, осаживал подгулявших молодых людей, брэнчавших на гитаре; чаще всего ему вслед смеялись, но иногда кричали что-нибудь такое:

— Не канючь, папаша! Умирать пора, папаша!

— Молокососы, мать вашу так, я вам покажу! — сыпал угрозы Алексеич. — Еще на горшках сидели, когда я!.. — он снова заводился, как и до выпивки.

Что касается Петровича, он, подходя к дому, разговаривал с бездомными животными и деревьями, сочинял стихи, пытался их читать случайным полуночным женщинам, но они почему-то от него шарахались.

Дома, страдая от бессонницы, Алексеич беспрерывно курил, кашлял, отхаркивался и ворчал на бывших жен, кото-

рые ему «отравили лучшие годы», при этом шаркал из угла в угол, задевая стол, стулья, перекладывал вещи с места на место, роняя то одно, то другое — соседи снизу не раз стучали ему по батарее. Алексеич уже давно приготовился распрощаться с жизнью: продал лишние вещи, привел в порядок фотографии, письма, составил завещание «неблагодарному» сыну; жен в завещании не упомянул... Засыпал Алексеич только под утро; во сне стонал, хрипел, кашлял, выкрикивал какие-то команды...

Вернувшись домой, Петрович подходил к зеркалу, видел опухшие красные глаза, дряблую кожу... Отмахнувшись от своего отражения, закуривал, тяжело опускался в кресло; душевная усталость и невеселые предчувствия охватывали его. Он и раньше плохо переносил одиночество, особенно в праздники, после того, как они с Алексеичем разбредались по домам, а теперь, оставаясь наедине с самим собой, испытывал что-то вроде страха.

— Плохой симптом, если женщины покидают мужчину, — бормотал он. — Значит я им уже неинтересен... Неужели мое время прошло и впереди пустота?!

Петрович закрывал глаза и перед ним вставала тихая, нежная женщина с чувствительным сердцем; она заботилась о нем, выслушивала, утешала, готовила его любимый омлет с луком... и, конечно, поддерживала его стремления. А стремления у него были нешуточные: издать сборник стихов, занять участок с летним домиком, разводить цветы... Он так привык к своей мечте, что вполне зримо проживал вторую жизнь, и эта воображаемая жизнь была намного прекрасней настоящей жизни. Последние годы он и спал с женщиной-мечтой, закопавшись носом в ее волосы прислушиваясь к трепету ее чувствительного сердца.

Время шло и ничего не менялось в образе жизни стариков, но сами они менялись в худшую сторону: Алексеич стал ощущать боли в желудке, у Петровича появилась одышка; оба во всю разговаривали сами с собой, а встречаясь по вечерам, выбирали ослабленный вариант выпивки: вместо водки покупали крепленые вина и, как правило, обходились одной бутылкой, то есть делали поправку на возможности организма.

— Тяжело стало по ночам, — оправдываясь, говорил Петрович другу. — Ноль эмоций.

— Да и накладно, — соглашался Алексеич. — Надо бы вообще переключиться на самогонку.

В какой-то момент Петрович заметил, что его друг изменился и в другую сторону: стал меньше «полахать», не так бурно, как раньше, реагировал на «непорядок» во дворе, и даже последним постановлениям «власть имущих» оказывал вялое сопротивление. Как-то незаметно воинствующий «пират» превращался в образцового матроса. «Устал воевать», — решил про себя Петрович, но это было только началом перерождения Алексеича. Вскоре он прибарахлился — купил новый пиджак, с утра ходил выбритый до синевы, ни с того ни с сего с душевным подъемом поведал другу, что по утрам делает гимнастику, обливается, и, наконец, однажды в пивной просто-напросто ошарашил Петровича, спросив, с некоторой долей легкомыслия, «а не жениться ли ему на соседке, которая приносит супчик?». Да еще объяснил:

— ...Понимаешь, без женщины как-то тупеешь.

— Хм! — скептически покачал головой Петрович. — Ты похож на жениха не больше, чем я на Пушкина.

— Скажу тебе больше, — неторопливо, прочувственно произнес Алексеич. — Скоро месяц, как она живет у меня.

Это уже Петрович воспринял как личное оскорбление. Он изменился в лице, задышал прерывисто.

— Ты скверный товарищ. Ноль эмоций! Решаешь, так сказать, важный вопрос не посоветовавшись, ничего не спросив, — его возмущение было слишком велико, чтобы продолжать свою мысль.

— Подумаешь событие! — хмыкнул Алексеич. — А чего тебя это так заело, Петрович? Нет, чтобы от души порадоваться за друга. Чего злишься-то, заводишься по пустякам? Брось! Другьям надо многое прощать. Я заметил, ты вообще стал что-то легковозбудимый.

Он попал в точку — «романтик», действительно, все больше превращался в скептика. Несоответствие мечты и реальности ставило его в тупик, заставляло нервничать; он замечал, что с каждым днем катастрофически уменьшаются его шансы встретить «тихую, нежную» подругу жизни. А тут еще пришли отказы из журналов, куда он посылал свои стихи... С Алексеичем он еще хорохорился, говорил о «домишке на природе», где он с «тихой женой» будет разводить «нежные цветы», говорил о повести про «стариков с молодым духом», которую непременно напишет, но возвращаясь в свою холостяцкую квартиру, сникал.

Теперь старики встречались реже, правда, созванивались ежедневно. Иногда Алексеич бодро кричал в трубку:

— Ну, как ты еще жив, старый хрыч? Заходи, моя половина обед сварганила. Приходи, поешь, как следует. Горячее у меня теперь всегда в шкафу стоит.

Во время обеда Алексеич подбадривал друга:

— Не вешай нос! Есть средство от тоски — вспомни, кому еще хуже, сразу полегчает... И что ты никак не можешь найти бабу? Вокруг полно добрых и... красивых баб. Нерасторопный ты, Петрович, какой-то.

По пути к дому, Петрович чувствовал жгучую зависть к счастью друга. Входя в свой двор, он в легкой форме упрекал дворника за халатность, за то, что тот небрежно относится к своим обязанностям: в гололед не насыпает песком тротуар, не думает о последствиях; автомобилистам делал мягкое замечание, что «двор все же не ремонтная мастерская и от стука у некоторых разламывается голова»...

...Петрович умер внезапно от инфаркта; будучи выпивши, упал на замшелых ступенях своего подъезда. Его душа, вне всяких сомнений, унеслась в рай. После похорон Алексеич сказал жене:

— Он был крайне благородный человек... Не все его устремления осуществились, но он хоть пытался что-то сделать, сделать жизнь достойной, а другие и не пытаются.

Алексеич совершенно забыл, что Петрович был всего лишь «последним романтиком», «кремлевским мечтателем», а перед смертью и вовсе превратился в скептика и ворчуна, но почему-то в памяти друг остался неисправимым оптимистом, неким борцом за лучшее будущее, который часть своей заразительной энергии передавал другим, в том числе и ему, Алексеичу.

Через год дом, где жил Алексеич с женой, поставили на капитальный ремонт и жильцам предоставили квартиры в новом районе. В новом дворе Алексеичу нравилось абсолютно все: клумба и скамьи, где играли дети, а молодые мамы занимались вязаньем, площадка, куда загоняли свои легковушки автомобилисты, пузырящееся на ветру бе-

лье у бойлерной, огороженная кирпичом помойка; одно у него вызывало неприязнь — пенсионеры доминошники, которые целыми днями стучали костяшками, при этом, как сычи, осматривали двор и все и всех поносили. Как-то Алексеич услышал и в свой адрес нелестные слова, что-то вроде:

— Молодится, под руку ходит со своей фифой!

Алексеич подошел к доминошникам, усмехнулся:

— ...Эх, вы! Дожили до седых волос; небось, хлебнули немало, а ничего не поняли в жизни. Вывод не сделали, что надо закрыть дверь в прошлое!

А дома жене сказал:

— Желчные люди, законсервировались, не смотрят вперед. Вот Петрович... он всегда... он был лучше всех, — Алексеич отвернулся, сглотнул горький комок.

И жена, в знак полного, безмерного согласия, молчаливо обняла Алексеича. Она была тихая, нежная, с чувствительным сердцем, а внешне намного полнее его предыдущих жен, этакая пышная громадина. Алексеич признавал только таких.

## ЖЕНЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ

Прежде всего, скажу вам, ребята, вот что: как многие привычные люди, я противник всяких перемен в быту — привычные, обжитые вещи мне гораздо дороже любых новинок. К примеру, свой старый рабочий стол, в шрамах и ожогах от сигарет, я никогда не променяю на новый, самый современный. И не променяю на антикварный, уникальный, даже если за ним работал сам Лев Толстой.

Понятно, это касается не только стола. Лет десять назад приятели литераторы (из числа молодых) стали уговаривать меня приобрести компьютер, но я и слушать их не хотел — меня вполне устраивала пишущая машинка «Эрика», добротный, проверенный временем, механизм. Большинство приятелей махнули на меня рукой, обозвав «непробиваемым упрямым стариканом», но некоторые продолжали наседать:

— Пойми, голова! — втолковывали мне эти молодцы, без всякого почтения к моему возрасту (что обычное дело в писательской среде). — На компьютере проще простого вносить в текст правку — щелкнул «мышкой» и порядок, все готово. Компьютер подчеркивает ошибки, делает переносы, абзацы...

Я отчаянно сопротивлялся, говорил, что привык к машинке и осваивать компьютер мне уже поздно. Я сравнивал себя с верблюдом, который, как известно, брыкается, когда на стоянках ему пытаются поменять ношу — он хочет нести именно то, что нес. Разумеется, приятелей литераторов я сравнивал с настырными погонщиками.

Но спустя два-три года мое сопротивление ослабло. Дело в том, что в магазинах исчезла копирка и лента для печатных машинок, а в издательствах и вовсе стали принимать

рукописи только в электронном виде. В общем, пришлось купить недорогой компьютер и, естественно, «Справочник для чайников».

Что мне сразу не понравилось в компьютере, так это множество обозначений (на клавиатуре) и заставок (в программе Word) на английском языке. Особенно раздражали заставки, в которых я ничего не понимал. В сердцах я называл их «заплатами», и никак не мог взять в толк, почему наши инженеры не могут создать собственную «машину» и программу полностью на русском языке?

И не понравилось, что в Worde одну и ту же операцию можно выполнять двумя, а то и тремя, способами (например, выходить из файла, менять шрифт, копировать текст и прочее). Было непонятно, зачем такие усложнения? Я-то считал, что и в механизмах, и программах ничего не должно быть лишнего, во всем надо стремиться к простоте, идти «от колеса». Кстати, позднее я заметил, что для работы с текстом (набор и верстка) многие значки на полосе Word и часть клавиш на клавиатуре вообще не нужны — они лишь приводят в замешательство неподготовленного пользователя. Собственно, и сейчас, освоившись в Worde, я спокойно обхожусь без них. Правда, теперь знаю, что программа создана не только для литераторов и у нее огромные возможности.

Но все по порядку. С первых дней, ребята, я понял — в железном ящике сидит какой-то суровый надзиратель. Посудите сами — от этого субъекта то и дело сыпались грозные окрики: «Ошибка!», «Это грубо!», «Заменить!», при этом на экране появлялась «заплата» с крестом и раздавался страшный удар колокола — казалось, меня хотят прибить.

Так продолжалось около месяца, и все это время тип в ящике постоянно унижал меня, пытался доказать, что его интеллект выше моего. Не скрою, я злился не на шутку, ругался с компьютером, пару раз, выйдя из себя, стукнул кулаком по ящику. Случалось, чтобы не трепать себе нервы, вообще выключал его. Но что бы вы думали? Компьютер оказался мстительной штуковиной — при следующем включении он «зависал», то есть никак не хотел загружаться. Только с третьей попытки, нехотя, как бы делая мне одолжение, начинал работать, как ему и положено.

Но все это цветочки, дальше последовали ягодки. Как только я стал набирать свои рассказы, надзиратель превратился во въедливого редактора, который дотошно, даже с какой-то издевкой, подмечал мои промахи. И если бы только ошибки в словах, ему не нравились и мои предложения. То и дело появлялись «заплатки»: «Это стилистически не верно!», «Это грубое просторечие! Поменяйте на литературный язык!». Или: «Слишком длинно! Разбейте на несколько предложений!». Похоже, редактор вообще не терпел длинных предложений, так что, Гоголю с Тургеневым от него досталось бы. Короче, редактор мне представлялся тираном, который мучил литераторов, душил их свободу. Бывало, только хочу взлететь, как он привязывает гири к моим ногам. Понятно, в такие моменты я посылал его к черту.

Но кое в чем, конечно, компьютер удобная вещь. Во-первых, отпадает надобность стучать по клавишам (что делаешь на машинке), достаточно легких прикосновений на клавиатуре. Во-вторых, не слышится треск «каретки» — текст бесшумно автоматически переходит на следующую строку. В-третьих, компьютер следит за орфографией и опечатками. Но только через год до меня по-настоящему до-

шло, что компьютер — великое изобретение. Подумать только! — все, что написали наши классики, можно уместить на нескольких дисках, величиной с блюдце! А на какую-то флешку (меньше зажигалки), называемую «флэшкой», можно скачать всю библиотеку им. Ленина!

Что и говорить, прогресс шагает семимильными шагами. Кто знает, может вскоре компьютер вообще отойдет в прошлое, изобретут какие-нибудь таблетки — проглотил, и перед тобой разворачивается действие романа Толстого или пьесы Шекспира. Возможно, к таблеткам будет приложена инструкция: «глотать перед сном», чтобы обогащаться знаниями во сне и не тратить попусту ночное время. Все может быть, ребята, все может быть.

Ну, ладно, не будем отвлекаться на фантазии, пойдём дальше, ведь на этом моя история с компьютером не заканчивается. Дальше мой «умный» железный ящик привел меня в пространство, от которого захватывает дух. Но вначале небольшое отступление.

Все знают, в девяностые годы, когда рухнула наша страна и закрылись государственные издательства, большинство литераторов оказались в бедственном положении. Новые частные издательства рассматривали книгу, как обычный товар, на котором можно заработать, и печатали в основном детективы, скандальные истории из жизни известных людей, сексуальные романы. Серьезная литература уже была не нужна. Это продолжается и сейчас. Многие поэты и прозаики издают книги за свой счет, издают небольшим тиражом, чтобы только подарить друзьям и отнести в библиотеки. В книжные магазины книги от авторов берут неохотно, один-два экземпляра, да и то не везде.

Я тоже, влезая в долги, издал четыре книги; большинство из них лежат у меня дома. А в это время уже всюду процветал Интернет, и мои приятели литераторы (опять-таки из числа молодых — кто ж еще! — они всегда идут в ногу со временем) вновь стали меня обрабатывать:

— Пойми, голова! За свой счет издают книги только графоманы! Давай, подключайся к Интернету и там выставляй свои рассказы. Интернет — это беспредельное мировое пространство, у тебя сразу появится тьма читателей, они будут писать отзывы!..

— Заманчиво, — откликнулся я, но, узнав, что это удовольствие стоит не меньше трехсот рублей в месяц, категорически отказывался (для меня, пенсионера, это накладно).

Однажды Московская писательская организация поместила в Интернете (в «Библиотеке Кирилла и Мефодия») рассказы нескольких прозаиков (и мои тоже). Но вскоре у своего друга, однофамильца Владимира Олеговича, поэта и инженера, я увидел эту «Библиотеку»: текст не отформатирован, без абзацев и переносов, строчки в беспорядке — в одной десять слов, в другой — два.

— Как можно это читать? — хмыкнул я.

— Сложновато!—засмеялся Владимир. — А теперь посмотри другие сайты — «проза.ру» и «стихи.ру». Там у каждого своя страница и можно, сколько хочешь, править рукопись.

Он вошел на «проза.ру», где, действительно, все выглядело более-менее прилично, но оказалось, что на этом сайте восемьдесят тысяч литераторов, и большинство из них литераторами можно назвать с натяжкой. Естественно, такое соседство не очень радовало.

— Я на сайте «стихи.ру», — сказал мой друг. — Представляешь, выставил всего несколько стишков, но за год на

мою страницу зашли тысячи читателей! Фантастика! Кстати, здесь открыть свою страницу может каждый. И, учти, совершенно бесплатно! Так что, не тяни, подключайся к Интернету и вперед!

Слова Владимира Олеговича произвели на меня сильное впечатление, я почти сдался, но меня по-прежнему останавливала оплата за Интернет. И вдруг появляется новый вид оплаты — через телефонную сеть всего за сто одиннадцать рублей в месяц. Тут уж, ясное дело, я подключился к Интернету и завёл свою сайт-страницу в новом портале «Библиотека профессиональных писателей», который как раз в это время открыл мой друг Валерий Иванович Шашин.

И случилось невероятное. Если за последние годы мои книги прочитало не больше ста человек (хочется верить, все, кому дарил), то всего за неделю на мой сайт зашло более двухсот читателей! Стало ясно, Интернет для литератора — самый простой путь к тем, для кого, собственно, он пишет.

Теперь об отзывах читателей. Это, ребята, скажу вам, забавная штука. К примеру, моему приятелю поэту один читатель написал: «Вы большой талант. Почти, как Лермонтов». А другой (по-видимому, слегка тронутый) выдал несколько гневных тирад с громовой концовкой: «Не пиши стихов. Сдохни!»

Еще одному моему приятелю прозаику какой-то остряк посоветовал: «Давайте в рассказах побольше секса и поменяйте фамилию на женскую. Лучше на звучный псевдоним, типа «Рекса» или «Ритца». Сразу станете известным».

Мне повезло — я не получал ни разгромных рецензий, ни дурацких советов. Правда, не получал и похвальных отзывов. Я уж подумал, что мои писания не производят ника-

кого впечатления, как вдруг некая Анна Александровна написала: «Здравствуйте Леонид Анатольевич! Я в восторге! Не думала, что у нас есть такие замечательные писатели. Над вашими рассказами я смеялась и плакала...» — и дальше множество слов в превосходной степени, и слова сожаления: «Как жаль, что на Вашем сайте всего несколько рассказов. Вы нарочно так мало представили своих произведений или Вас редко посещает муза?»

Ради любопытства (все-таки единственно откликнувшийся читатель) я зашел на сайт этой Анны Александровны и увидел фотографию далеко не молодой женщины, попросту говоря — старушенции. Она выглядела лет на шестьдесят, но, наверняка, как это принято у женщин, выставила снимок двадцатилетней давности, а на самом деле ей было под восемьдесят. Фотография запечатлела интеллигентное лицо, умный взгляд и доброжелательную улыбку. Одежда старушки, без всякой вычурности и украшений, выдавала неплохой вкус.

А вкус, ребята, немаловажная вещь, вкус — это определенный взгляд на жизнь вообще. Короче, было бы свинством не ответить этой читательнице, и я написал: «Спасибо за добрые слова. Специально для Вас помещу еще с десяток рассказов. Что касается «музы», то она меня посещает, но обычно не застает дома».

Самое неожиданное произошло, как только я отправил это послание. На экране вдруг появилась «заплата»: «Она женщина твоей мечты!» Я обалдел — что за ядовитая насмешка? Тип в ящике решил не просто вмешаться в мою личную жизнь, но и поглумиться надо мной! Выругавшись, я выключил компьютер, но долго не мог прийти в себя — тип в ящике разозлил меня по-настоящему.

Через пару дней Анна Александровна написала мне снова: «Уважаемый Леонид Анатольевич! Прочитала Ваши новые рассказы. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение, я просто очарована Вашим творчеством...» — и дальше опять кучу восторгов, а под конец признание: «...Я тоже недавно начала писать рассказы, но еще никому их не показывала. Буду Вам безмерно благодарна, если Вы найдете время прочитать мои литературные опыты и напишите — стоит ли мне продолжать писать или бросить? Ваше мнение для меня значит очень много».

К этому посланию было прикреплено два рассказа. Я прочитал их и, представьте ребята, был немало удивлен — для начинающего литератора они выглядели вполне сносно. Даже больше скажу — они подкупали живописностью и искренностью, и простотой изложения. В первом рассказе сентиментальная героиня верит в чудеса, привидения и ангелов, и непременно видит хорошее даже в самом плохом человеке. Всякую несправедливость и вражду она воспринимает, как недоразумение, как недопонимание между людьми. Такое великодушие.

Другой рассказ (автобиографический) производил впечатление, что его писала молодая женщина — столько в нем было задора и оптимизма: «...Неудачи есть у всех, но одни с ними борются, а другие подчиняются судьбе. В сложных ситуациях я стараюсь не терять присутствие духа и думаю о хорошем. Прежде всего о родных, ведь счастье в семье, в простых человеческих радостях. И думаю о своих замечательных друзьях, и об удачах, которые ждут впереди».

«Что у нее, старушенции, впереди?» — усмехнулся я, но оценил ее «дух» и, благословляя на новые опусы, написал одобрительную рецензию. А когда послал ее, на экране

вновь появилось: «Она женщина твоей мечты!». Причем на этот раз тип в ящике сопровождал «заплатку» романтической мелодией — уже как изощренное издевательство. Похоже, он прямо упивался своим всемогуществом. Особенно раздражало то, что он, видите ли, знает мои мечты!

Между прочим, ребята, если уж на то пошло, скажу — я всю жизнь мечтал о тургеневской женщине. Красивой, среднего возраста, тонкой, впечатлительной, музыкальной, с золотым характером — ну, сами понимаете, я имею в виду идеальную женщину. Кстати, и сейчас — не смейтесь! — иногда мечтаю о ней. И вот скажите мне — при чем здесь эта бабуся?!

Тем не менее, мы продолжали переписываться (я уже взвалил на себя ношу наставника и отступить было поздно). Старушка присылала свои рассказы, я добросовестно их читал, отмечая удачные места и погрешности, с которыми, кстати, старушка соглашалась безоговорочно, в отличие от большинства начинающих авторов. Ну, а тип в ящике все морочил мне голову, все гнул свое, твердил про «мою мечту». Несколько раз даже добавлял: «Не валяй дурака, встреться с ней!». А однажды совсем обнаглел — вдруг выдал: «Женись на ней!». И запустил свадебный марш Мендельсона. Я чуть не свалился со стула. Это уж было слишком! Мое терпение лопнуло и я зло отстучал на клавиатуре: «Сам женись!». И выключив компьютер, с усмешкой подумал: «Уж если надумаю жениться, найду, пусть не тургеневскую женщину, но близкую к ней, и, разумеется, намного моложе».

Я, ребята, конечно, старый, но душа-то у меня молодая, я достоин женщины лет сорока — сорока пяти. Знаете, как в Англии выбирают себе жену? Делят возраст мужчины попо-

лам и прибавляют семерку. Это считается лучшей разницей. Мне семьдесят, пополам тридцать пять, плюс семь — то есть, мне нужна женщина не больше сорока двух лет. А учитывая, что я еще в неплохой форме, можно и помоложе.

Но что меня поражало не меньше зловредного типа в ящике, так это сама старушка литераторша. Во-первых, в ее рассказах постоянно ощущался тот «молодой дух», о котором я уже говорил. Как-то, с потугой на юмор, я даже написал ей: «Судя по всему, вы неплохо сохранились для своего возраста». И знаете, что она ответила? «Я тоже так считаю!»

Во-вторых, каждый свой рассказ старушка сопровождала «посланием», где делилась со мной некоторыми мыслями, и, как ни странно, эти ее мысли часто совпадали с моими. То есть, в какой-то мере старушка оказалась моей единомышленницей. К примеру, она с презрением относилась к «новым русским», особенно к обитателям «рублевки». «Согласитесь, — писала она, — их стремление к роскоши, желание перещеголять друг друга в богатстве, показное поведение — все это выглядит нелепо. Вчерашние бездарности, внезапно нечестно разбогатеv, возомнили себя аристократами. Но им не хватает воспитания и вкуса, у них нет врожденной культуры, не так ли?»

Спустя несколько недель, прочитав два десятка рассказов старушки, я отобрал лучшие из них и написал своей заочной великовозрастной «студентке»: «Анна Александровна! Эти рассказы вполне профессиональные, они способны утереть нос некоторым членам Союза писателей. Советую Вам издать книжку за свой счет. Сто экземпляров будут стоить примерно пять тысяч рублей. Понимаю, для Вас, пенсионерки, это большая сумма, но, может быть, Вам помогут родственники. Желаю удачи!»

В ответ получаю: «Уважаемый Леонид Анатольевич! Мне очень приятны Ваши слова, но, по-моему, я не заслуживаю их. Деньги у меня есть, но о книжке я и не мечтала, об этом даже страшно подумать. Вы уверены, что надо мной не будут смеяться?»

«Абсолютно уверен!» — отстучал я.

Начиналось лето, и на два месяца я укатил на дачу, а когда вернулся, на своем сайте обнаружил письмо, которое ждало меня уже не один день: «Уважаемый Леонид Анатольевич! Я послушалась вас, книжка у меня на руках и я хочу ее Вам подарить. Когда Вы сможете со мной встретиться?»

Я назначил ей встречу «в подвале», как мы называем нижний буфет ЦДЛ. В тот вечер «в подвале» собралось немало завсегдатаев, в том числе и моих дружков стариканов. Подсев к ним, я выпил пару рюмок водки, разговорился и на какое-то время забыл о старушке, но вдруг почувствовал на плече чью-то ладонь. Обернулся — передо мной стояла молодая, красивая особа: белокурая, с челкой, с прекрасной улыбкой и неотразимым прищуром; она была в сером костюме, за которым угадывалась прямо-таки точеная фигура.

— Здравствуйте Леонид Анатольевич! — сказала она. — А я Анна Александровна.

Я растерянно поднялся.

— Как? На фотографии вы...

— Сейчас все объясню, — красавица показала на свободный столик в углу. — Мы можем там посидеть?

— На фотографии моя мама, — пояснила Анна, когда мы расположились в углу. — Вначале я разместила свою фотографию, но мне стали поступать непристойные предложения.

— Так и писала мне ваша мама? — обескуражено протянул я.

— Нет, писала я. И рассказы мои... Я вам так благодарна, что вы серьезно отнеслись к ним... Вот книжка, — Анна достала из сумки брошюру с симпатичной обложкой и протянула мне.

На титуле я прочитал: «Леониду Анатольевичу, с огромной благодарностью за все!». Пока я просматривал брошюру, Анна внимательно смотрела на меня, подперев щеки руками и улыбалась. Потом тихо произнесла:

— Я ждала этой встречи все время, пока мы переписывались. Я сразу влюбилась в вас, как только прочитала ваши рассказы.

— Не в меня, а в автора рассказов, — усмехнулся я. — Вы просто не знаете, что литератор в творчестве и в жизни — два разных человека. Вы еще молоды, вам, наверно, лет тридцать...

— Сорок, — поправила Анна и продолжила: — Я уверена, что писать такие необыкновенные рассказы может только хороший человек. К тому же, на сайте ваша фотография, а я физиономистка, я сразу поняла, что у нас родственные души, что вы — мужчина моей мечты.

Я немного ступешелся и пошел к стойке буфетчицы.

Потом мы с Анной потягивали вино и она рассказывала о своей матери, друзьях и подругах, рассказывала искренне, увлеченно и страстно, с неизменной улыбкой. В ней была какая-то магическая притягательность — я смотрел на нее и тоже начинал улыбаться, и чувствовал, что возвращаюсь в молодость. Вспомнив типа в ящике, я понял, что он не зря посылал мне «заплатки» относительно Анны — она, действительно, была тургеневской женщиной.

В общем, ребята, по пути к дому у меня разбушевалась фантазия и я уже представлял Анну своей женой. Но дома в меня вселилось сомнение — а что если с ее стороны это всего лишь жестокое развлечение? С мучительным нетерпением я еле дождался следующей встречи и сразу, с размаху, предложил Анне пожениться. И она, не раздумывая, согласилась. Согласилась с лучезарной улыбкой и, запрокинув голову, выдохнула:

— Я сегодня такая счастливая!

Что касается типа в ящике, то, после нашей с Анной первой встречи, он похвалил меня: «Молодец!», а после второй, торжественно объявил: «Поздравляю!».

Теперь у меня с компьютером самые дружеские отношения. Теперь он уважительно относится к моим писаниям и, если и делает замечания, то в деликатной форме: «Может быть, это слово заменить?» — и предлагает несколько синонимов. И всегда передает привет Анне. Я, в свою очередь, постоянно протираю его и, оберегая от солнечных лучей, закрываю плотной накидкой. Ну, а мы с Анной, как вы, ребята, догадываетесь, купаемся в счастье. Нам завидуют все знакомые Анны и все мои знакомые. Особенно дружки стариканы «в подвале» — они просто кусают локти от зависти

## НЕКРАСИВАЯ

Тот дом выглядел несуразно — на нем было множество ассиметричных лепнин и украшений: казалось, где-то разобрали особняк и на новом месте собрали, но кое-что перепутали.

Алексей позвонил в дверь на первом этаже, ему открыла высокая старуха со строгим взглядом, с глубокими морщинами на лице, с папиросой во рту; она была в соломенной шляпе, в свитере, шароварах и мужских сандалиях на босу ногу.

— Вам кого? — пробасила великанша, не вынимая изо рта папиросы.

— Здесь сдается комната?

— Проходите! — старуха развернулась и гулко зашлепала в темноту.

Алексей пошел за ней.

— Комната хорошая, светлая, — гремела старуха. — Говорят «далеко». Меня это умиляет. От чего далеко? От Большого театра или от Кремля?

В глубине коридора виднелась комната, где за столом весело болтали некрасивая девушка и мальчишка. Увидев старуху, они смолкли, и мальчишка показал Алексею язык, а девушка скорчила веселую гримасу.

— Вот, смотрите, — старуха толкнула соседнюю дверь в пустую угловую комнату, где от окна к окну гулял ветер, разметая по полу обрывки газет. — Здесь ветер дует только в одну сторону, — пояснила старуха, попыхивая папиросой.

— Да, вижу, — кивнул Алексей. — Весь сор лежит у одной стены.

— Тут поставим для вас раскладушку, сюда из коридора передвинем стол, и жилье будет что надо! Вы кто по профессии-то?

— Художник.

— Ну ничего. Все лучше, чем столяр. Тот целыми днями заколачивал гвозди. — Старуха засмеялась, ее смех наполнил треск разрываемой ткани.

Алексей подошел к окну: половина асфальтированного двора была заставлена ящиками с осенними цветами, среди ящиков шастал сухой сутулый мужчина, в одной руке держал лейку, в другой — детскую лопатку.

— Сумасшедший старик, — пробурчала старуха. — Бывший учитель. Развел здесь огород. Раньше от него житья не было — с утра скреб метлой под окнами. Но я его припугнула — теперь тише воды.

К вечеру, заплатив за три месяца, Алексей перебрался в угловую комнату. «Ничего, что продувная, зато светлая, — подумал он. — И цветник перед окном».

Утром его разбудил громовой голос старухи: она отчитывала какую-то жиличку за то, что та хлопала дверь. Когда Алексей умывался, она переключилась на парня, который «слишком громко» говорил по телефону-автомату в подъезде. Через полчаса она уже ворчала на соседей, что «их радио досаждают больше всего». Не успел Алексей одеться, в дверь постучали, и в комнату вошла некрасивая девушка с чашкой горячего чая. Дешевое платье, перевязанное в талии шнуром, на голове бабкина шляпа, острый нос, острые колени, движения мальчишеские, угловатые, и вся хрупкая и легкая — вот-вот растворится в воздухе.

— Здравствуйте! Это вам, — приветливо сказала дурнушка. — Бабуля прислала. — Из-под шляпы на Алексея смот-

рели желтые глаза, в них озорно бегали какие-то иголки — настоящий разбойник, а не девчонка.

— Закрывай скорее дверь, — сказал Алексей, — а то тебя сдует.

— И не сдует. Я крепкая, — сказала, сморщила нос и засмеялась. Потом поставила чай на стол и прикрыла дверь. — Вы похожи на пирата, — она ухмыльнулась, и ее желтые глаза колюче заискрились.

— Это почему же?

— Небритый, и вон шрам на руке.

— Вот те раз! Не успел въехать — уже дали прозвище.

— Так это ж хорошо! — она прищурила глаза. — Имя человека узнаешь, когда познакомишься, а прозвище вешаешь сразу. Прозвище имеет не всякий...

— Лиза! — раздался голос старухи. — Я тут одну тарелку ищу. Было шесть, а осталось четыре. Ты не разбила?

— Не-ет! — крикнула Лиза и тихо усмехнулась. — Пропали две, а ищет одну! Сама куда-то положила и забыла... Меня вообще-то бабуля послала у вас прибрать.

— Давай убирай.

Она сходила за тряпкой и начала протирать окно. Алексей принялся за чай, изредка посматривая на свою «горничную». «Такая худая, что почти сгибается под тяжестью бабкиной шляпы», — усмехнулся он про себя.

— Значит, тебя Лиза зовут?

— Лиза. А вас?

— Дядя Леша.

— Дядя! — она прыснула. — Вам же лет тридцать!

— Побольше.

— А чем вы занимаетесь, дядь Леш? — «Дядь Леш» она произнесла нарочито растянуто.

— Составляю рецепт бессмертия.

— Нет, правда?

— Художник я. Делаю разные этикетки к банкам, коробкам. Иногда дают что-нибудь проиллюстрировать.

— Как интересно! Потом покажете?

— А как же!

— Вон учитель, — она кивнула за окно. — Вы видели его клумбу?

— Видел.

— Он так ухаживает за цветами! Подсыпает в деревянные квадратики чернозем. Если какой стебелек погнулся — ставит палочку и привязывает. Нюхает, гладит, радуется каждому цветку... Я иногда ему помогаю, он называет меня «цветочница». А в прошлом году кто-то оборвал все цветы. Ужасно было жалко. Учитель прямо заболел... Ну вот, окно в порядке, пол подмету вечером, сейчас надо бежать в институт.

— Ты в каком?

— В педагогическом, на первом курсе.

— А где твои родители?

Она вдруг рассмеялась, сморщив уголки глаз.

— Почему ты смеешься?

— Мы оба не выговариваем «р», и кажется, что все время друг друга передразниваем.

— В самом деле.

— Лиза! — опять позвала старуха. — Ты все сделала? Хочешь опоздать в институт?! Ты здесь приготовила капусту, что-то у меня от нее голова разболелась. Ты, наверно, туда валерьянки налила?

Лиза хмыкнула:

— О боже! А родители за границей. Папу послали работать на год, а мы остались с бабушкой. Я и брат Вовка. Ну, я побежала. Пока!

Вечером она зашла снова. Длинноногая, в просторном халате она выглядела еще более худой. Поставив на стол раковину морского гребешка, она сказала:

— Это вам пепельница, дядь Леш. — «Дядь Леш» опять произнесла нарочито четко, скривив губы. — А почему вы так много курите? Вы нервный, да?

— Просто дурацкая привычка.

— А по-моему, курить легче, чем не курить. Когда люди курят, у них вроде руки заняты, и этим успокаивают нервы. А когда не курят, надо сдерживаться.

Алексей пожал плечами.

— Вот бабуля просто не вынимает папиросу изо рта. Она очень нервная. Вы заметили, она ведет настоящую войну с шумом.

— Заметил.

— А я для нее — громоотвод. На мне она разряжается. Но я уже привыкла... Бабуля через день работает в библиотеке уборщицей... Она смешная. Ее настольная книга — «Умное слово», сборник высказываний великих людей. О чем бы я ни заговорила, она сразу перебивает: «Извини! А вот Флобер сказал...». Обед начинает с компота. «В желудке, — говорит, — все встретится»... Раньше все время нас с Вовкой пичкала лекарствами. С утра, как просыпались, тащила таблетки. И залечила нас. У Вовки и у меня стал болеть желудок. Потом мама ей запретила... Вот, посмотрите, какую сегодня мне записку оставила. — Она достала из халата листок бумаги и прочитала: — «Лиза! Покорми Вовика, а мне свари кофейный напиток. Налей полтора стакана во-

ды, насыпь две ложечки сахара, без верха, одну ложечку, без верха, кофейного напитка, потом вари, остуди и поставь вот сюда». Здесь стрелка.

Она рассмеялась.

— А вы, дядь Леш, работаете?

— Угу.

— Можно посмотреть? Вы обещали показать рисунки.

— Смотри! — Алексей протянул ей кипу набросков.

Она скинула туфли и, поджав ноги, села в кресло напротив. Некоторое время щелкала языком от восторга, потом, уткнув подбородок в скрещенные руки, смотрела, как Алексей рисовал. Потом старательно точила ему карандаши.

— А где вы жили до сих пор?

— На другой квартире. Среди музыкантов. Чуть не спятил от них.

— Расскажите!

— Надо мной жил один скрипач, а внизу — пианист. Скрипач пиликал с восьми утра и только начнет — пианист внизу тоже садится за инструмент. Скрипач громче возьмет — и пианист на полную катушку. Представляешь, как мне жилось между ними?

Она внимательно слушала, приоткрыв рот, улыбаясь одними глазами.

— Как-то пианист в час ночи сел за инструмент, я не вытерпел, спустился, показал ему кулак. «Это не я, — замахал он руками. — Зайдите, — говорит, — послушайте». Зашел я к нему, а под ним еще один чудака играет. «А я только ему подыгрываю, — говорит и подмигивает мне. — Чтобы насолить тому», — и показывает наверх, имея в виду скрипача.

Она вновь рассмеялась.

— У нас тоже жила одна певица. Появилась, вся разукрашенная, и сразу спрашивает: «У вас клопов нет? А тараканов?». Я ее чуть не отлупила... Она целыми днями крутила пластинки, заводила на полную мощность и подпевала. Правда, благодаря этой меломанке я теперь знаю наизусть несколько арий.

— Ого!

— Правда, правда... А где вы еще жили?

— Где? Много где! Однажды мне повезло. Один профессор уехал в командировку и оставил мне огромную дачу. У дома фонтан, фруктовый сад, яблук — хоть завались. На даче был камин, отличная библиотека, шкаф с тонкостенной посудой. В общем, я стал богачом. И не платил за это ни копейки, только за свет и воду. Меня как бы наняли охранять дачу. Надо было только поливать цветы и кормить собаку...

Она слушала с каким-то веселым плутовством, сощуривая глаза и постукивая карандашом по зубам.

— А пес тот был жуткий баловень. Хозяйка меня наставляла: «Пожалуйста, молоко ему подогревайте, в сырую погоду выводите только на террасу». А я думал: черта с два! Будет есть все. И точно: дней пять воротил нос, потом все подряд лопал.

Лиза усмехнулась, пододвинулась ближе к Алексею.

— Как-то я решил пошутить: пригласил друзей и объявил им, что все это мне подвалило по наследству. Ох и пирушку мы закатали! А для чая я поставил на стол алюминиевые кружки. Приятели возмутились: «Вот, стоило тебе разбогатеть, сразу стал жмотом. Давай сюда сервиз!» — и лезут в шкаф. Я их отговариваю: «Это ж наше фамильное, нельзя!» — а они не слушают. Ну и, конечно, кокнули две чашки. Я обошел все комиссионки, приблизительно такие купил.

— А что было потом?

— Что было? Ясное дело, что! Вернулся профессор, и я снова стал бедным. А хозяйка меня ругала. И не столько за чашки, сколько за собаку. «Такой худенький стал», — говорила.

— А еще? Еще вы где-нибудь снимали?

— Снимал. Раз снял комнату, где окно выходило на лестничную клетку... На помойные ведра. Темнота была жуткая. Но я нарисовал на глухой стене солнце, и пальмы, и море... Посветлело.

Лиза поджала губы, усмехнулась.

— А однажды мне предложили целую квартиру на полгода, но... с двумя крокодилами в ванне. Платить было не надо. Хозяева еще собирались давать по тридцать рублей в месяц крокодилам на мясо... Но я отказался.

— Шутите?

— Нет, правда.

— А почему вы так много снимали комнат?

— Очень просто: разошелся с женой.

— А ваша жена, она была... Хотя нет. Не хочу о ней ничего знать. Лучше расскажите еще что-нибудь.

— Хватит. Сейчас все расскажу, а потом и рассказывать будет нечего.

— Когда иссякнете вы, начну рассказывать я, — в ее глазах так и забегали хитринки.

— Рассказывай сейчас, чего там!

— Я пошутила, мне нечего рассказывать. Со мной, как назло, никогда ничего не случается. Учусь, хожу в магазин, помогаю бабуле готовить, а Вовке — делать уроки... Иногда сижу в библиотеке, читаю. Библиотека — лучший институт, правда?

— Точно.

— Мне иногда кажется: то, что я учу, никому не нужно, — все так же шутливо продолжала она. — Педагог из меня не выйдет. Я даже Вовку воспитать не могу... Я вообще-то способная во многом, но ни в чем по-настоящему. И ничего-то у меня такого нет, — она сама над собой рассмеялась и с досады бросила на стол карандаш.

— Ну как это — ничего? Так не бывает. Жених у тебя, например, есть?

— Нет, — очень просто сказала она и улыбнулась. — Да все мои сверстники — идиоты. Только и знают — «эти джинсы купим, те продадим». Мне никто не нравится. И я — никому. Я же некрасивая. Бабуля, когда рассердится, говорит: «Ты такая чувырла, что уж лучше сидела бы дома и не показывалась на улице»...

Алексей посмотрел на нее. Она сидела, подперев щеки ладонями. Концы ее волос лежали на столе. Только сейчас Алексей заметил, что у нее красивые золотистые волосы.

— Ерунду говорит твоя бабка! У тебя красивые волосы, фигура. А волосы — главное украшение женщины.

Она усмехнулась.

— Волосы, фигура! А лицо?! Да и фигура у меня подкачала. Ем, ем, а все без толку.

— Худая — это здорово, ничего ты не понимаешь!

— Вы много понимаете!.. Нет! Я не такой хотела бы быть. — Она отвернулась к окну, и глаза ее на минуту потухли, а на лице появилась детская мечтательность. — Я хотела бы, чтобы у меня была фигура как у Джинны Лоллобриджиды, а лицо — как у Мишель Мерсье. Я хотела бы стать модельером.

— Так стань! Давай я тебе помогу. Здесь главное — вкус, а он вроде у тебя есть. Халат по цвету — блеск.

— Лиза! — послышался голос старухи. — Куда подевалось мое «Умное слово»? Ты не брала?

— Не-ет! — крикнула Лиза и опять засмеялась. — Есть невозможные вещи. Научиться рисовать, или быстрее всех бегать, или стать красивой...

— Можно, все можно.

— Нет, нельзя... Я с детства такая. А вот подружка у меня была красивая. Она дружила со мной, потому что около меня была еще красивей. Мальчишки всегда носили ее портфель, по вечерам светили в ее окно фонариком... Мы играли в прятки — девочки прячутся, а мальчишки найдут и целуют. Мы прятались в подвале, там было темно, и мальчишки всегда были недовольны, если попадалась я... Еще мы ставили спектакли: перегораживали комнату одеялом на бельевых прищепках. Это был занавес... Главные роли разбирали красивые девочки, а мне, как уродине, доставались разные старухи, официантки... В одном спектакле я играла несколько ролей — по десять раз переодевалась. Однажды мне достались роли дворника, старухи и рыцаря. И рыцарь должен был плакать. Я вспомнила, как меня мальчишки отталкивали, — разревелась, еле остановили.

Все это она рассказывала искренне, просто, беспечно. Казалось, некрасивость скорее забавляла ее, чем огорчала, и только глаза из весело-желтых становились влажно-медовыми. Но, может быть, это Алексею показалось — ведь, пока они болтали, стемнело.

— Мы с подружкой любили преподавательницу английского языка. Ходили к ней в гости, пили чай. Она рассказывала об Англии. Иногда мы заставляли у нее нашего физика

татарина. Мы ревновали ее и, чтобы ему насолить, не учили физику. А они потом поженились. Смешно, правда?.. В школе на вечерах меня тоже никогда не приглашали танцевать. Я всегда держала сумки подруг... Страшила — вот я кто!

Она рассмеялась. Встала, надела туфли и беззаботно протанцевала что-то веселое, точно ее совсем не интересовала любовь, точно она для нее не созрела. Такого чистого существа Алексей еще никогда не встречал.

— Прекрасная Страшилка! — сказал он, и она остановилась.

Ей стало приятно, что он ее так назвал; она даже покраснела.

Поздно вечером к нему зашла знакомая. Узнав об этом, старуха начала ворчать, а Лиза поманила его и шепнула:

— Вам папирос не нужно? Я могу у бабули стащить. У нее всегда есть.

— Тащи! — Алексей подмигнул ей, она — ему.

За окном выпал снег, засыпал ящики с засохшими цветами, облепил карнизы дома напротив. Лиза заходила к Алексею каждый день. По утрам — ненадолго. Принесет чай, посмотрит новый рисунок, который Алексей набросал, и побежит в институт. После занятий постучит, приоткроет дверь, крикнет: «Как дела?» — и спешит в магазин. Поможет старухе приготовить обед, посидит над учебниками — снова заглянет. Она помогала ему обрезать и наклеивать оригиналы. Иногда рассказывала про дела в институте... С нового года ее должны были послать на стажировку за границу, но не послали. В тот день она зашла к Алексею расстроенной.

— Кого вы, дядь Леш, думаете, послали? Нашего секретаря комсомола и двух активистов. Обидно!

— У тебя еще все впереди, — отозвался Алексей. — Ты еще объездишь весь мир.

— Весь мир не получится, — поджала губы Лиза. — Больше всего я хотела бы побывать в Париже. Я люблю французских писателей, французские фильмы...

— Лиза! — раздался голос старухи из кухни. — Иди-ка сюда!

Она встала:

— Я попозже зайду. Можно? Я вам не надоела, дядь Леш?

— Обязательно приходи.

— Я принесу вам кусок торта. Вчера у Вовки был день рождения. Бабуля дала ему три рубля и сказала: «Купи себе вафельный торт». Она сама его любит.

Лиза распространяла вокруг себя радостное спокойствие; Алексею казалось — рядом с ней все оживает, приобретает краски. Он и не заметил, как привык к своей помощнице и часто ловил себя на том, что посматривает на часы, если она задерживается в институте. И Лиза привязалась к Алексею — с ним было не просто интересно — впервые она очутилась в «художнической среде», и когда Алексей придумывал сюжеты наклеек и советовался с ней, чувствовала себя соавтором его работ... Когда стали продавать консервы с этикетками Алексея, Лиза купила две банки и понесла в институт — похвалиться подругам. Она больше Алексея радовалась его успехам и сильно огорчалась его неудачам. В ней была редкая душевная чувствительность... Когда к нему приходила какая-нибудь женщина, Лиза советовала надеть другую рубашку, купить печенья к чаю. Потом подмигивала и, исчезая, тихо бросала: «Счастливо!». Но тут же за дверью начиналось какое-то шуршанье. Алексей открывал дверь и

обнаруживал Лизиного брата. Вовка с дурацким усердием подслушивал. В конце концов это Алексею надоело, он набрал воды в клизму и брызнул в замочную скважину; открыл дверь — у Вовки все ухо мокрое, но он прыгает на одной ноге и дразнится:

— А мне не больно! А мне не больно!

— Он и за нами шпионит, — сказала Лиза и покраснела, — чтоб мы не целовались... И все докладывает бабуле. Она уже мне сказала: «Ты к жильцу не ходи». Она вас зовет «жилец». «Он, — говорит, — распутник. Тот был лучше, который заколачивал гвозди». Но вы не обращайтесь на нее внимания. Она со странностями... Но вообще она не такая сердитая, как кажется... А Вовке я надаю.

Алексей рассказывал Лизе о своих друзьях, о том, как они летом ловят рыбу, разводят костры, ночуют в палатках. Она слушала, широко раскрыв глаза, то улыбалась и ерзала от возбуждения, то замирала в тихом восхищении. Однажды Алексей сказал:

— Ну, Елизавета, готовься. Сегодня они придут, мои друзья.

— И я буду с вами? — поспешила она выяснить.

— Ну да. Давай в темпе накрывать на стол.

Она даже протанцевала что-то, но вдруг остановилась.

— А как мне себя вести? Я боюсь показаться дурой наби-той.

— Будь такой, какая есть.

Она явилась в новом платье, поздоровалась с друзьями Алексея и замечательно улыбнулась; ее янтарные глаза лучились, а волосы были такие красивые, что казались ненастоящими. Только все это заметил один Алексей, а его друзья поздоровались с ней как с обычной девчонкой.

— Я хотела выглядеть получше, но у меня ничего не получилось, — шепнула она Алексею и досадливо махнула рукой.

— Отличный вид! — заключил он и представил ее друзьям: — Мой новый друг!

Она немного смутилась — то ли от ранга, в который он возвел ее, то ли слово «друг» чуть-чуть задело ее женское самолюбие. На всякий случай Алексей добавил:

— Моя хорошая приятельница.

За столом Лиза держалась естественно и просто... Она вся была какая-то легкая: легко ходила, легко ухаживала за гостями и говорила легко, не подбирая слова.

— А чем занимается в нашем мире девушка? — спросил один из друзей Алексея. — И что она думает обо всем этом?

— О чем? — весело откликнулась она.

— Ну вообще о жизни?

— По-моему, жизнь прекрасна. Особенно у вас. Вы так интересно живете.

— А ты?

— А у меня все обычно.

— Заканчиваешь школу?

— Уже закончила. Я в пединституте. На первом курсе.

— Ну-у, блестящее будущее у тебя. Начнешь давать левые уроки — разбогатеешь.

— А мне не нужны богатства. Вообще без многих вещей можно жить счастливо.

Каждому было ясно — она доверчива и беззащитна, и ее на самом деле не привлекают материальные блага. Мужчины продолжали над ней подшучивать, но в душе оценили ее нравственную чистоту. Они прекрасно понимали, что

беззащитных нельзя обижать, и подтрунивали мягко, безобидно.

— Ну, а чему вас учат в институте?

— А у нас в институте скучно. Преподаватели — одни старички, лекции читают монотонными голосами, всех клонит ко сну.

— Это ясно. Ну а как ты относишься к этой, как ее, к любви?

Лиза не смутилась.

— Вы не сердитесь, но я сейчас подумала, что вы похожи на нашего преподавателя по античной литературе. Только он немного старше вас. Он очень любит разговоры о любви. Вызовет самую скромную девушку и расспрашивает о любовных интригах в произведениях. Девушка заикается, краснеет, а он, довольный, усмехается...

— Здорово, Лиза, ты уела моих самоуверенных дружков, — рассмеялся Алексей.

Они засиделись до полуночи. Проводив друзей, Алексей застал Лизу убирающей посуду.

— Ну как, правда у меня отличные друзья?

— Да, очень хорошие. Только все же вы, дядь Леш, немного их придумали. Про одного вы говорили: «Он все забросит ради друзей», а ведь он первым поднялся, сказал «спешу к красоте». А другой, когда смотрел ваши эскизы игрушек, сказал: «Когда же ты, старик, возьмешься за серьезные вещи, сделаешь что-нибудь для взрослых?». Серьезные! Как будто делать рисунки для детей — несерьезно. Ничего он не понимает.

— Он пошутил.

— Нет, он не шутил.

Укладываясь спать, Алексей подумал о том, что в мужской дружбе всегда каждый живет сам по себе, а жизнью друга просто интересуется или, в лучшем случае, участвует в ней. Полностью жить жизнью мужчины способна только женщина. Такая, как Лиза... С тех пор как он появился в угловой комнате, его работа, его планы и увлечения стали чуть ли не смыслом ее существования, и родные, и учеба отошли на второй план. В голове у Алексея даже мелькнуло: «Из нее вышла бы отличная, преданная жена», но он тут же испугался этих мыслей. «И вообще я слишком много о ней думаю! Жил так спокойно... и вдруг...» Он даже злился. Старался не думать о ней. Никогда такого с ним не было.

Однажды после встречи с друзьями Алексей проснулся с головной болью и, пока одевался, осоловело смотрел на пустые бутылки и пепельницу, забитую окурками. А за окном всюду сверкало солнце и разноцветными водопадами с деревьев сыпался иней. Вдруг пришла Лиза с лыжной прогулки, пахнувшая снегом и хвоей, и угловая комната наполнилась ее звонким смехом.

— Как вам не стыдно валяться в такой день?! Вы, наверное, совсем забыли, что такое скрипучая лыжня, накатанные горки, заснеженный лес! И это называется турист!

Она стояла перед Алексеем в спортивном костюме, покрасневшая, с каплями растаявшего снега на ресницах. Стояла и смеялась.

— Дядь Леш! А у нас на курсе маленькая победа. Нашего секретаря сняли!

— Поздравляю.

— А знаете, за что он полетел? Муж одной студентки избил соседа. Его будут судить. А ее хотели выгнать из комсомола за то, что видела и не позвала милицию. А секретарь

написал ей записку: «Хочешь остаться в комсомоле, приходи ко мне домой...». В общем, прямо все написал, а она с этой запиской пошла в деканат, — Лиза рассмеялась и хлопнула в ладоши.

«Как приятно на нее смотреть, — подумал Алексей. — Всегда чистая, отглаженная, на одежде ни соринки, ни складки». В самом деле, у Лизы было мало платьев, но она носила их бережно, аккуратно.

— Правду говорят, смех укрепляет здоровье, — пробурчал Алексей. — Вот я и выздоровел... Завидую тебе, Лиза. Ты всегда такая веселая.

— Это только с вами, а когда остаюсь одна... — она не договорила, покраснела от своей смелости и отошла в сторону. Потом снова засмеялась и съязвила: — Не-ет! Вас вечером вылечит любовь. Когда придет очередная женщина. Любовь от всего вылечивает... А вообще все холостяки мнительные и много говорят о своих болезнях. Правда, они чаще болеют и раньше умирают.

— Ого! Откуда ты все это знаешь?

— У нас жили двое холостяков. Только о болезнях и говорили... Вообще мужчины делятся на мужчин и не мужчин. Вот те были нытики, а вы настоящий мужчина.

— Спасибо, но с чего ты это взяла?

— Чувствую.

— Маленький теоретик, — усмехнулся Алексей.

— Я не теоретик. У меня был один поклонник... У него всегда были усталые глаза — ему все надоело. Он был красивый, и девчонки висли на нем. И я, дурочка, влюбилась... А однажды я не позвонила ему, и он сказал моей подруге: «Прибежит, куда денется!». Вот негодяй! И я порвала с ним, — она вздохнула. — Ну вот, теперь вы обо мне все знаете. А

вам, дядь Леш, надо жениться. У вас столько хороших женщин.

— Ты и это заметила, что они хорошие?

— Это все заметили. Весь двор. И ваших блондинок, и ваших брюнеток. Они все разные, но все красивые. Бабушка называет их «блестящие женщины».

...В середине зимы у Лизы начались каникулы. Накануне у них в институте был вечер. Она пришла домой переодеться. Потом заглянула к Алексею.

— Дядь Леш! Как вам мое новое платье? — откинула волосы со лба — рот в полуулыбке, а платье пронзительно-белое, больно глазам смотреть, искры с него так и сыпались.

— Отлично выглядишь, — пробормотал Алексей. Сказать больше у него не хватило духу.

— Я нравлюсь вам, правда?

Она ушла, и Алексей заскучал. Последние дни он и работал-то, чтобы заполнить время до встречи с ней. «Девчонка, каких много, — думал он. — Но почему мне так недостает ее? Неужели я потерял голову?! Не хватает еще влюбиться! Так спокойно жил...»

Через час она вернулась встревоженная.

— В чем дело? — спросил Алексей, втайне радуясь ее возвращению.

— Я убежала с вечера, — замирающим голосом откликнулась она.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... То есть да, случилось... Пойдемте куда-нибудь...

— Куда?

— Куда хотите, мне все равно.

Это предложение застало Алексея врасплох, он догадывался — его ждет что-то важное.

Когда они вышли, уже стало темнеть, и улицы перемигивались огнями. Лиза просунула руку в карман пальто Алексея и стиснула его ладонь.

— Я собрала все свое мужество, чтобы вас пригласить... А случилось... Случилось необыкновенное... Я влюбилась в вас, — она опустила голову и надолго смолкла.

Они зашли в кафе, где, сталкиваясь друг с другом, танцевали парочки.

Лиза снова стиснула руку Алексея.

— Я так долго ждала этой минуты... Я ничего не могу с собой поделать... Никакие занятия не лезут в голову. Вчера вы обещали позвонить с работы — так я устала ждать, смотреть на телефон. Кто бы ни звонил, злилась и бросала трубку.

Она говорила взволнованно, с дрожью в голосе. Было ясно — все это она давно носила в себе и теперь, выговорив, вздохнула с утомленным облегчением.

— Все девчонки в институте считают меня такой умной, а с вами я такая дура...

Она не умела прятать свои чувства и говорила то, что другие скрывали, и это Алексея обезоруживало и привлекало. Он обнял ее за худые плечи, и она встретила это с радостной готовностью. Ее руки сразу потянулись к нему навстречу, а лицо так осветилось, что стало... красивым.

— Ты маленькая королева, — тихо сказал Алексей, — вернее — принцесса. Королевой станешь потом, когда повзрослеешь. Ты станешь еще более красивой и...

Она не дала ему договорить — закрыла рот ладонью и опустила голову с заблестевшими глазами.

По пути домой она молчала, но тревожные глаза, и полукрытый влажный рот, и внезапная улыбка выдавали ее. Алексей догадался — в ней смелость борется со стыдливостью. У подъезда она прошептала:

— Вы не боитесь привидений?

Он покачал головой.

— Тогда ночью к вам придет...

...Она вошла тихо, придерживая дверь. Ее волосы блестяли как нити елочных украшений. В широкой ночной рубашке она казалась совсем девчонкой. Плотнo прикрыв дверь, маленькими уверенными шажками подошла к нему.

— По-моему, мы оба сошли с ума, — тихо сказал Алексей. — И почему ты не боишься меня?

— По-моему, вы меня боитесь, — чуть слышно проговорила она.

Все женщины, когда он целовал их, закрывали глаза, а эта — нет, только взгляд ее стал помутневшим, сдавшимся.

— Произошло что-то необыкновенное... Кажется, я очень вас люблю, — прошептала она, и из ее глаз закапали слезы.

Через час она ушла, неслышно шлепая босыми ногами.

Весь следующий день она не разговаривала с ним и ходила не поднимая глаз... А потом при встрече ее глаза загорались, и Алексею становилось трудно дышать. Наконец она стала говорить ему «ты» — еле слышно, еле различимо.

— Так вот оно какое, счастье, — шептала, обнимая его. — Тебя послал бог. Я такая счастливая!

Они все время были вместе. Даже когда расставались, она все равно была с ним — он постоянно думал о ней. Женщины, с которыми он встречался, выдвигали множество требований, а Лиза была счастлива от немногого, ей хватало маленьких сиюминутных радостей. Восприимчивая и

тонкая, она реагировала не только на интонацию его голоса, но и на каждый его взгляд... Алексей все время открывал в ней что-то новое. Особенно ему нравилась ее готовность ко всяким его вылазкам: поехать ли к друзьям, заглянуть ли в кафе. «Женщина только отвечает на любовь и любит того, кто ее любит», — как-то изрекла она сомнительную истину, и он радовался, что она без всякого противоборства признала его лидерство. Она по-прежнему помогала ему в работе, и он очень любил ее в те минуты, когда она сидела рядом, склонившись над столом.

Наступила весна, и голос у Лизы стал звонким, веселым. Счастье делает людей беспечными, часто и бестолковыми, но и... красивыми. Прямо на глазах из подростка Лиза превратилась в юную женщину с вполне сформировавшейся фигурой, ее фигура стала прямо-таки точеной, взгляд — еще более лучистым, в движениях появились округлость и женственность... Алексею нравилось в ней все. Впервые он встретил женщину, к которой ничего не хотелось прибавить и ничего не хотелось отнять. Лиза ходила совсем без краски и одевалась просто, но когда он смотрел на нее, у него перехватывало дыхание.

Теперь, заметив Алексея, шкет Вовка прыгал на одной ноге и дразнился:

— А я все знаю! Я все знаю!

Только ему и доносить на «жильца» и сестру было не нужно — старуха и так все видела. Она перестала с Лизой разговаривать, а Алексея вообще не замечала и, если он что-нибудь спрашивал, отвечала односложно и зло. Она ворчала, что на кухне он берет ее посуду, жжет много света, плохо закрывает водопроводный кран. В коридоре она повесила зеркало, чтобы видеть, кто приходит в угловую ком-

нату, но влюбленные старались не давать ей такой возможности — теперь Лиза приходила к Алексею только когда старуха засыпала.

Неожиданно для самого себя Алексей снова подумал о том, что из Лизы вышла бы прекрасная жена, но он опять отогнал эту мысль. «Я еще не имею своего угла... В таком положении нельзя заводить семью... Да и наша разница в возрасте».

Весной Лиза стала еще красивей, выплеснулось наружу то, что было скрыто, что видел один Алексей, а другие не замечали. В короткой юбке, длинноногая — у нее стал такой вид, что прохожие останавливались, а некоторые выходили из автобусов, чтобы только получше ее рассмотреть... Красавица должна держать себя так, точно не знает, что красива, — это придает ей дополнительную привлекательность. Но Лиза была слишком откровенна, чтобы вести столь тонкую игру; она и сама не меньше других удивлялась перемене в своей внешности.

Как-то зашли друзья Алексея и засыпали его вопросами:

— Что происходит с Элизабет? Она так похорошела, стала просто опасна в своей неотразимости!

Когда запустили музыку, у Лизы от приглашений не было отбоя. Она искренне удивлялась неожиданному успеху.

— Они сговорились, да? Ты их подговорил? — шептала Алексею. — Раньше меня никто не приглашал, а сейчас...

Красота избавила Лизу от скованности, от ощущения неполноценности, а в Алексее заронила зерна смутного беспокойства. Эти зерна, точно замедленный яд, вносили в его жизнь тревогу и смуту. Может быть, он все выдумывал, ведь ее отношение к нему не изменилось, изменилась

только она сама, но и это как бы разрушало его уверенность в себе.

На майский праздник друзья Алексея устроили вечеринку в кафе; заранее договорились — «явиться с подружками». Алексей пришел с Лизой, но в тот вечер она ему не принадлежала: налево и направо расточала улыбки и слова, не переставая танцевала со всеми. Разозлившись, Алексей курил одну сигарету за другой. Внезапно Лиза подсела к нему, схватила за руку — глаза тревожные, губы дрожат.

— Что, устала развлекаться? — желчно спросил он.

— Нет. Просто соскучилась по тебе... А ты сердись на меня? Я плохо себя веду?

— Да нет, ты просто предательница.

— Неправда! Я не предательница! Пусть я танцевала с другими, немного болтала, но все равно думала о тебе. Не сердись! Ведь я многого не знаю, но я послушная, и по два раза тебе не приходится повторять, ведь правда? Я все сделаю, как ты хочешь.

По пути домой прямо на улице они так жадно целовались, как в первый раз в его комнате.

Наступили зыбкие дни: Алексей жил в полной ненадежности, между веселым и грустным; невидимый мостик, связывающий его с Лизой, вдруг стал ветхим, в нем появилась трещинка. Раньше Лиза никогда не заглядывала в зеркало, а теперь могла часами прихорашиваться, осматривать себя... Алексей любил наблюдать, как она расчесывает свои роскошные волосы: как зажимает шпильки губами, как водит расческой и рассматривает себя серьезно и внимательно, точно совершает какое-то таинство, и все же в этом ритуале он усматривал ее новое желание — нравиться другим. Это желание беспокоило его.

У Лизы появилась подруга манекенщица, пустозвонка, на лице которой было написано: чего-то хочется, чего — не знаю сама; вокруг нее всегда увивались мужчины. Звали ее Пискля. Эта девица чуть ли не ежедневно заходила к Лизе, притаскивала заграничные шмотки и парфюмерию, журналы мод... После ее ухода Лиза, невероятно счастливая, прибежала к Алексею и демонстрировала новые наряды; от нее пахло французскими духами.

— Тебе нравится это платье? Пискля сказала — у меня обалденный вид.

С каждым днем походка у Лизы становилась все увереннее и независимее, у нее появился прямо-таки победоносный взгляд. Все чаще Лиза стала задерживаться в институте, а потом подробно рассказывала Алексею о своих очередных победах.

— Представляешь, сегодня в троллейбусе двое молодых людей мне говорят: «Мы отбираем девушек на конкурс красоты и решили пригласить вас». Я сказала им, что не считаю себя такой уж красивой, а они все уговаривают. «У нас, — говорят, — маленький конкурс, камерный».

— ...Представляешь, сегодня прямо на улице мне сделали предложение... А Пискля познакомила меня с одним художником. Он хочет написать мой портрет. Пискля говорит, он очень талантливый.

— Пискля говорит, Пискля познакомила! — вспыхнул Алексей. Он готов был прибить эту Писклю.

Лиза затаилась, потом надулась.

— Ты все время, постоянно чем-нибудь недоволен. Я все время чувствую себя виноватой, прямо преступницей какой-то. А что я такого сделала?! — с досады она махнула рукой и вышла из комнаты.

Как большинство вспыльчивых людей, Алексей, погорячившись, быстро отходил, вспоминал о Лизе только хорошее и в конце концов оправдывал ее. А Лиза иногда дулась целый день, при этом припоминала все предыдущие обиды и жаловалась:

— Одно твое грубое слово сводит на нет десятки приятных, — и обнимала его, но уже без прежнего жара.

Ей стали названивать какие-то парни, она постоянно куда-то спешила: то в институт, то в школу на практику, то с Писклей в комиссионный магазин. Часто вообще проявляла к Алексею небрежность: заходила ненадолго, рассказывала о каком-то показе мод или что-нибудь вроде того, что в Японии мужчина разводится с женой, если она спит в некрасивой позе.

— ...Вот скажи как художник. Ведь правда не нужно подчеркивать свои особенности, но и не нужно их скрывать? Когда маленькая женщина носит высокую прическу и огромные каблуки, она только подчеркивает свой маленький рост. А высокой незачем скрывать свой рост и носить туфли на низком каблуке. Все естественное прекрасно, ведь правда?

Алексей злился — Лиза делала культ из своей внешности. К его любви примешивалось раздражение, злость, он чувствовал — Лиза отдаляется от него, и боялся ее потерять.

— Я забыл, когда видел тебя с книгой, — запальчиво выговаривал он. — Ты совсем стала как твоя Пискаля.

— О господи! Сколько обвинений! — морщилась Лиза. — Как мне это надоело! Почему я не могу делать то, что хочется?! Ну почему? И вообще, чем требовать что-то от меня, лучше побольше требуй от себя. В твоём возрасте мужчина

уже должен чего-то добиться. А ты даже не имеешь своего жилья. Это несолидно.

— Вот как ты заговорила! — с горечью произнес Алексей. — Какое дурацкое слово — «несолидно». — Внутри у него все похолодело от страшного предчувствия — Лиза разлюбила его.

«Как она изменилась, — подумал он наедине с самим собой. — Она все забыла! Ведь это я открыл ее, сделал из нее красивую женщину. Неблагодарная!»

Ничего особенного не происходило, они ссорились и мирились, но с каждой ссорой все больше сгущался осадок обид, а отношения становились вымученными, тяжеловесными.

— Отношения должны давать радость друг другу, а у нас сплошные огорчения, — уже безнадежно говорила Лиза и с каждым днем все позже возвращалась домой: то «заглянула» в клуб на танцы, то попала на просмотр фильма в Доме кино.

Однажды она не пришла совсем. В ту ночь старуха пять раз под разными предложениями заглядывала к Алексею и, не застав Лизу, успокоено вздыхала, как бы показывая, что все остальные Лизины поклонники менее опасны, чем он.

Всю ночь Алексей прислушивался к шорохам на лестнице.

Лиза явилась под утро; как ни в чем не бывало сказала: «Привет!» — и прошла в свою комнату. Алексей не выдержал и позвал ее.

— Сейчас переоденусь, — сказала она так спокойно, как говорят, когда все безразлично. — Меня пригласили сниматься в кино, — объяснила Лиза, входя в его комнату. — На студии делали пробы... А в июле я уезжаю на съемки в

Прибалтику... Ты рад? — у нее был усталый вид, но голос твердый, решительный.

— Что мне особенно нравится — в твоих планах совсем нет места для меня, — стараясь сдерживаться, усмехнулся Алексей.

— Если хочешь, ты тоже можешь поехать.

— Как приложение к тебе?

— Но я не понимаю, чем ты недоволен. Ты хочешь, чтобы я отказалась? По-моему, это просто глупо.

Наступило лето. Однажды вечером Алексей работал в угловой комнате, Лиза уже привычно где-то задерживалась. Сделав работу, Алексей вышел на улицу, зашел в сквер напротив дома, сел на скамейку, закурил. Было еще светло. Стояла теплая погода, кто-то спешил в кино, кто-то — на свидание, напротив Алексея в тени дерева целовалась парочка, а он курил и посматривал по сторонам — ждал Лизу. Прошел час, другой, уже стемнело, зажигались окна в домах, а ее все не было. Вначале Алексей представил собрание в институте, потом Писклю и какое-нибудь кафе, потом разных парней на танцах — распалил воображение до того, что его стало трясти. Покажись в это время Лиза с провожатым — им несдобровать бы. «И почему она с ними, с этими молодыми балбесами?! — злился Алексей. — Ведь я лучше. Все, что они знают и могут, я тоже знаю и могу. И могу еще намного больше...» Раньше Алексей всегда оправдывал Лизу, даже поверил в ночные съемки, и сейчас с радостью взял бы вину на себя, но, как ни размышлял, получалось, что Лиза во всем не права.

Уже начали гаснуть окна в домах, влюбленные, стоявшие под деревом, куда-то исчезли, а Лиза все не появлялась.

Алексей впал в какое-то оцепенелое уныние, когда уже и Лизу, и поклонников был готов послать ко всем чертям.

...Она подъехала на машине около полуночи — ее подвез светловолосый парень. Машина остановилась напротив освещенного подъезда, и из темноты Алексею было хорошо их видно. Некоторое время они сидели в машине и о чем-то говорили. Парень закурил, предложил сигарету Лизе, и она закурила тоже. И все это время, пока они курили, Алексей прямо задыхался от волнения. А потом парень обнял ее и поцеловал. Алексей бросился к машине, и в это время она открыла дверь и ступила на тротуар. «До завтра!» — махнула рукой парню и увидела Алексея.

— Ты здесь? Что ты здесь делаешь? — проговорила не-твердым голосом.

Она покачивалась, ее лицо выражало бессмысленную радость — то ли еще не пришла в себя от поцелуя, то ли улыбкой пыталась скрыть растерянность. Машина отъехала, Лиза стояла, смотрела на Алексея, чего-то ждала, а он от боли забыл все слова. Не в силах справиться с ревностью, он только невнятно пробормотал:

— Дрянь!

Лиза заметила, что с ним творится, но ничего не сказала в свою защиту.

В комнате, укладывая вещи в чемодан, Алексей все ждал, что Лиза зайдет объяснить, успокоит его, уговорит остаться... Но она не появилась.

## ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ

В раннем детстве на меня сильнейшее впечатление произвела сказка «Три поросенка». Я ужасно злился на двух неразумных поросят, которые построили себе ветхие домишки, и безмерно восхищался их смышленным братом, который возвел основательный кирпичный дом. Сказку мне читала мать по вечерам, перед сном, и помню, я испытывал нешуточный страх, когда волк ломал домишки неразумных поросят, даже залезал под одеяло, но сразу же успокаивался, как только поросята прятались в доме смышленного брата. Эту сказку я просил читать мне каждый вечер, года два подряд, хотя давно выучил ее наизусть; случалось, даже — подсказывал матери, когда она запинаясь на каком-нибудь слове. Просил читать и утром и днем, но мать, под разными благовидными предлогами, уклонялась от моих просьб и подсовывала мне бумагу с карандашами, чтобы я учился рисовать. А отец философски заключал:

— Вечерние сказки не рассказывают днем, — и перечислял работу по дому, которую мне следовало сделать.

Кстати, я и сейчас отлично помню ту сказку. Многие стихи наших великих классиков забыл, а «поросят» могу пересказать один к одному. И, благодаря этой сказке, с детства люблю все прочное, крепкое, надежное. И не случайно, став взрослым, построил не просто катер, а нечто похожее на броненосец, а позднее соорудил не дачу, а крепость — ни один грабитель не влезет. И, конечно, отношения с людьми строил на прочной основе — на общности занятий, интересов, увлечений. Прежде чем с кем-либо заводить дружбу, подолгу приглядывался к человеку, у наших с ним общих знакомых выспрашивал про черты его характера, привычки, взгляды в искусстве и политике, а его самого до-

тошно пытал, что он любит, что не любит, и его симпатии и антипатии сопоставлял со своими. Только если его пристрастия соответствовали моим, вступал в дружбу.

Особую придирчивость я проявлял к женщинам — им просто-напросто устраивал экзамены с полсотней вопросов, при этом незаметно загибал пальцы: на правой руке — плюсы, на левой — минусы. Вначале я спрашивал, в каком месяце родилась женщина, и по знаку Зодиака определял, что она из себя представляет (астрология была моим коньком); затем приступал к другим вопросам. Не все выдерживали мои тесты. Ну, а тем, кто выдерживал, я организовывал новое испытание: приглашал пожить у меня в качестве домработницы, чтобы посмотреть, как она хозяйствует, бережно ли относится к вещам, внимательна ли ко мне или не очень — словом, какова она в быту? При этом я поэтично провозглашал:

— Быть барыней легче, чем служанкой!

Этот, самый серьезный «экзамен» не прошла ни одна особа! В общем, до сорока лет я так и не встретил женщину, которая устраивала бы меня во всех отношениях.

Я жил бобылем в двухкомнатной «хрущевке»; временами приходилось туговато: после работы ходил по магазинам, готовил еду, мыл посуду. Быт отнимал немало времени, а ведь я, кроме работы на заводе, писал стихи — то есть имел дело с вечностью, и был выше всякой житейской обыденщины. По вечерам меня ждал письменный стол и стопка бумаги, а приходилось заниматься «копощением», как я называл домашнее хозяйствование. Правда, подшивать и стирать белье я относил своей тетке, но ее подмога выглядела мелочью в сравнении с остальной работой по дому.

Моя тетка, шестидесятилетняя толстуха с грубым лицом, была, в общем-то, добросердечной старушенцией, но слегка тронутой, да еще старой девой. По ее словам, в молодости на ее дни рождения приезжали два автобуса женихов, но она так и не выбрала среди них «достойного».

— Одни были слишком шустрые, чумовые, другие — не поймешь что, ни рыба ни мясо, — заковыристо объясняла она. — Бог забыл сделать так, чтобы люди встречали равных себе. Вот и получается, что хорошие люди никак не могут встретить свою половину.

Тетка и в шестьдесят лет молодилась: носила какие-то карикатурные широкие одеяния, скрывающие несовершенства ее фигуры, делала на голове сложные укладки и носила бусы до пола, и выливала на себя по флакону в день «душистой воды» — от нее разило, как от парфюмерной фабрики. Частенько тетка сообщала мне что-нибудь эдакое:

— Вот говорят, что я старая, некрасивая, а меня, между прочим, недавно два раза пытались изнасиловать.

Все это она говорила звонко, растянуто, ее голос имел необычную акустику — он напоминал позвякивание связки ключей, и совершенно не соответствовал теткинскому мужланному лицу. Кстати, в молодости тетка мечтала стать оперной певицей, но «разные халды пренебрегли ее талантом».

Долгое время мы с теткой общались только по воскресеньям, когда я приходил к ней «отобедать» и заодно приносил белье, но потом в тетке вдруг проснулись материнские чувства и она стала заботиться обо мне — кроме стирки белья, взяла на себя и часть моих «копошений»: приходила убираться в квартире, приносила кое-какие продукты, при этом читала мне занудливые лекции, залиvisto тянула:

— ...Да-а, племянник, одному мужчине жить тяжело... Хорошей жены ты не встретил... У тебя израненная душа. Это удручает... Сейчас женщины отвратные. Душевных днем с огнем не сыщешь... В совместной жизни главное что? Родство душ, одинаковый уровень сердечности... А любовь — сказки одни...

И это говорила она, теоретик. И кому? Мне, прожженному практику, который уже не один год принимал «экзамены» у женщин и изучил их, как свои пять пальцев.

Однажды в воскресенье, как обычно, я пришел к тетке «отобедать», а на двери записка: «Загляну в магазин. Подожди». Я присел на скамью во дворе под деревом. Неожиданно рядом присела блондинка лет тридцати, пухленькая, с приветливым лицом, простоволосая — ее волосы падали до пятой точки и блестели, словно облитые сиропом.

— Вы кого-то ждете? — обратилась она ко мне. У нее голос был такой же звонкий, как у тетки, но более переливчатый, и он, как нельзя лучше, соответствовал ее лицу.

— Тетку, — буркнул я, машинально кивнув на подъезд напротив.

— Я тоже живу в этом доме, — блондинка показала на подъезд в конце дома. — Недавно сняла здесь квартиру и еще ни с кем из соседей не познакомилась... Здесь хорошо, много зелени, уютный дворик... — ее голос слышался, как перезвон колокольчиков, но, несмотря на это акустическое чудо, я не очень-то хотел поддерживать разговор, был уверен, что мы не найдем ничего общего. Даже про себя усмехнулся — мол, знаю я этих блондинок! Но она явно решила меня разговорить:

— А вы чем занимаетесь? Ой, нет! Давайте я угадаю! Вы... — она с улыбкой уставилась на меня, прищурилась, — вы, наверное, работаете на заводе... Но, по-моему, у вас творческая душа. Может быть вы рисуете или пишете стихи?

Я подивился такой пронизательности и кивнул:

— Пишу стихи.

— Ой, как интересно! — блондинка всплеснула руками.  
— А как вас зовут? Меня Нелли.

Я назвался.

— Пожалуйста, прочитайте что-нибудь свое! — Нелли пододвинулась и дотронулась ладонью до моей руки. — Что-нибудь про любовь.

— О любви не пишу, — остановил я ее порыв. — Я пишу на вечные темы.

— А разве любовь не вечная тема? — Нелли расширила глаза, но тут же снова сузила. — Ну хорошо, прочитайте что-нибудь о вечном. Пожалуйста!

Я набрал побольше воздуха и выдал одно из самых своих ударных произведений. А когда закончил, увидел серьезное изумление на лице Нелли.

— Вы гений! — проговорила она притихшим голосом.

— Я тоже так считаю, — кивнул я, отбросив всякую фальшивую скромность.

— Вы гений! — повторила Нелли уже с улыбкой. — Прочитайте что-нибудь еще!

В этот момент показалась тетка с какими-то пакетами.

— В другой раз, — сказал я, вставая.

Нелли тоже поднялась со скамьи.

— Хорошо, в другой раз, — она поспешно достала из сумки записную книжку, вырвала листок и начеркала свой

телефон. — Позвоните мне. Я готова слушать ваши стихи до бесконечности.

Надо сказать, к этому времени я уже накатал целый чемодан стихов и, понятно, как каждый поэт, нуждался в слушателях. Но приятели отмахивались от моих творений, женщины ничего не понимали в них, говорили «как-то сложно очень», «я плохо разбираюсь в поэзии, читаю романы»; ну, а из журналов, куда я посылал кипы подборок, их возвращали с разгромными рецензиями, да еще с наглыми пожеланиями «заняться чем-нибудь другим». Даже тетка, которой я не раз пытался прочесть стихи, сразу же придумывала себе какое-то «срочное дело» и увиливала от моего чтения.

«Ну, ладно тетка, у нее не все в порядке с головой, — размышлял я. — И черт с ними, с приятелями — они ничего не петрят в поэзии, но почему мои стихи не хотят печатать в журналах?». Несколько лет меня мучил этот вопрос. Ответ дала Нелли в первую же нашу встречу.

Я позвонил ей через пару дней после посиделок во дворе теткиного дома. Мы договорились встретиться у входа в центральный парк. Нелли пришла обновленной — в ослепительно синим платье с красным цветком в волосах.

— Привет! — помахала рукой еще издали, а подойдя ближе, сказала: — Вы обещали почитать стихи. Я сгораю от нетерпения.

Мы расположились в полупустом открытом кафе и за лимонадом я целый час читал стихи.

— Чудесно! Изумительно! — сопровождала Нелли каждое стихотворение.

Когда я, наконец, смолк, она спросила:

— А где можно прочесть ваши стихи? В каком журнале?

— Ни в каком. Их не печатают.

— Хм, не печатают! Такие чудесные стихи! Да куда они смотрят?! — возмутилась Нелли. — Я знаю точно — в журналах печатают только своих, по знакомству! Но они еще спохватятся, сами будут упрашивать вас дать какое-нибудь стихотворение... Меня так ваши стихи просто пробирают до мурашек. Чудесные, изумительные стихи! Я так потрясена, что сегодня не смогу уснуть. Я вообще все эти дни думала о вас.

Стало ясно — она влюбилась в меня. Я тоже испытывал к ней некоторый интерес, тем более, что, наконец, встретил женщину, которая оценила мой талант. Именно поэтому я решил устроить ей облегченный «экзамен» — всего десятка два вопросов, не больше, чтобы выяснить основное. «Потом, по ходу дела, узнаю все», — подумал про себя.

После первых трех вопросов, на которые Нелли ответила с улыбкой, подробно и искренне, она внезапно рассмеялась:

— Вы будете проверять мои ответы на детекторе лжи?

— Не буду, — твердо заявил я. — У меня большой опыт, и я прекрасно знаю, когда говорят правду, а когда врут. И не ошибаюсь. Меня никто не проведет.

С неделю мы встречались в парке; за это время я узнал у Нелли все, что хотел знать о ней. В общих чертах ее биография выглядела так: мать музыкантша, отец дипломат. Долго жила с родителями в Италии. Училась музыке, живописи. Сейчас работает модельером в Доме моды. Недолго была замужем, муж оказался пьяницей. Снимает квартиру, потому что жить без родителей «комфортней». У нас оказалось много общего; можно сказать, мы были из одного теста, она даже любила все то, что любил я. Абсолютно все то же са-

мое, точно наши вкусы сделаны под копирку. К примеру, суп из плавленых сырков и пиво с воблой. Я поразился и даже сказал ей:

— Мы с вами похожи.

Она рассмеялась:

— Мы должны дружить. У нас будет крепкая дружба!

Короче, Нелли блестяще сдала «экзамены», и я предложил ей стать домработницей. Нелли встретила мое предложение с радостной готовностью:

— Как интересно! Давно мечтала быть домработницей у талантливого мужчины. Женщина должна украшать жизнь мужчины... — и вдруг тихо, с придыханием добавила: — А перед сном я буду вам что-нибудь читать. Что-нибудь ска- зочно-интересное.

Мне понравилось это ее добавление — сразу вспомни- лось детство и вечерние сказки матери.

Я выделил Нелли меньшую из комнат. Она привезла свои вещи и сразу повесила на кухне новые занавески оранжево- рыжего, полыхающего цвета.

— Теперь здесь всегда будет солнце! — восторженно за- явила она. — В любую погоду с самого утра! Каждое утро надо начинать с положительных эмоций, а солнце устанав- ливает хорошее настроение.

Как домработница Нелли показала себя с самой лучшей стороны: она тщательно прибиралась в квартире, стирала и гладила белье (я перестал его таскать к тетке), готовила вкусную еду — и все это делала играючи, с улыбкой, а ведь сама проводила в Доме моды восемь часов и, само собой, там уставала, но ни разу ни на что не пожаловалась; даже за домашней работой негромко напевала всякие мотивчики. Что и говорить, у нее был легкий, веселый характер.

За ужином она всегда спрашивала:

— Вам нравится? Вкусно? Я старалась. Положить еще? — и смотрела на меня нежно, влюблено. Как-то даже попросила: — Подарите мне свою фотографию, я поставлю ее рядом с иконой.

После ужина я уходил в свою комнату писать стихи, и, пока писал, Нелли ходила на цыпочках, а после того, как я вставал из-за письменного стола, подбегала и просила прочитать «новое». И всегда я слышал:

— Чудесно! Изумительно!

Кстати, с тех пор, как Нелли переехала ко мне, на моем столе всегда красовались живые цветы — они, конечно же, способствовали моему вдохновению. За короткий срок я сочинил две сотни стихов и три поэмы о вечном — из меня строчки вылетали сами собой, я еле успевал их записывать.

По вечерам, когда я укладывался спать, Нелли, как и обещала, что-нибудь мне читала. Брала с полки одну из двух книг серии «Жизнь замечательных людей» (я собирал эту серию), садилась на стул рядом с моей тахтой и читала вслух. Читала тихо, переливчато — казалось, где-то далеко бежит серебряный ручей. Под ее убаюкивающий голос я и засыпал.

Когда Нелли прочитала «замечательных людей», она стала на ночь рассказывать мне о своей жизни в Италии: о солнечных пляжах на берегу «самого чистого моря», о красивых домах и музеях во Флоренции, о Риме, где «на улицах вечный карнавал», о каналах, мостах и узких улочках Венеции, «а на площади собор, и утром и вечером длинные синие тени»... Нелли рассказывала в мельчайших деталях о том, как училась музыке и живописи у известных мастеров, как слушала оперы в театрах, смотрела картины в музеях...

Каким-то странным образом и я переносился в ту страну и... засыпал не в какой-то «хрущевке», а где-нибудь в особняке у венецианских каналов.

Нелли все больше осваивалась в моей квартире и, спустя месяц, как-то незаметно из домработницы перешла в домохозяйки, а чуть позднее, уже вполне заметно, и в должность гражданской жены. Это произошло так.

Однажды вечером, когда я писал очередной цикл стихов, Нелли внезапно вошла в мою комнату в халате невысшимой расцветки — там были все цвета радуги — и он был полупрозрачным. С загадочным блеском в глазах Нелли прокрутилась на месте и спросила:

— Как я выгляжу?

— Неплохо, — выдавил я, ошарашенный тем, что виднелось под халатом.

Приблизившись, страшно волнуясь, Нелли проговорила:

— Я давно хотел спросить... Неужели, как женщина, я вам не нравлюсь?

Пока я соображал, что ответить, она подошла вплотную, обняла меня и зашептала:

— Я люблю вас! Страсть прямо прожигает мой халат! — видимо, чтобы он не сгорел, она сбросила его.

Не вдаваясь в подробности, скажу — в тот вечер все и произошло, совершенно неожиданно для меня. Понятно, после этого Нелли и стала гражданской женой. Надо признаться, вначале я испугался ее нового статуса, ведь за долгие годы холостяцкой жизни привык к свободе; даже подумал: «А не примет ли ее любовь угрожающие размеры, не станет ли она чего-то требовать, выяснять отношения, да еще, не дай бог, скандалить?» Я испугался, что от всего этого может пострадать мое творчество. Но надо отдать долж-

ное Нелли — она продолжала вести себя ненавязчиво, с еще большим усердием хозяйствовала, все чаще распевала веселые мелодии, а ко мне относилась — лучше нельзя придумать: то и дело подскакивала, обнимала, целовала и ликовала с широкой улыбкой:

— Гений, мой любимый! — и дальше, заливаясь смехом: — Посвяти одно стихотворение мне! Я выучу его наизусть и буду петь, как молитву!

В качестве гражданской жены Нелли пробыла около года, и за это время между нами не случилось ни одной размолвки. Больше того, наши отношения становились все прочнее и надежнее. В общем, я решил сообщить тетке о своем семейном положении. Приехал к ней и все выложил одним духом. Тетка страшно удивилась, стала нервно тереть бусы.

— И кто ж эта твоя избранница?

Я описал Нелли и заключил:

— ...Она живет в последнем подъезде твоего дома.

— Это уж не та ли блондинка выдра? — вспыхнула тетка, уже не звонким — громыхающим голосом. — Она ж аферистка! Всем говорит: «Жила в Италии, модельерша»... Она из деревни! Работает швеей на фабрике... У меня все выспрашивала: «Как ваш племянник? Что он любит?»... Думаешь, ты ей нужен? Вот! — тетка показала мне фигу. — Ей нужна твоя квартира!.. Не вздумай расписываться с ней! Как распишешься, она тебя отравит. Или ужокошит молотком, когда заснешь...

Теткины слова были для меня, как удар молнии. «Значит, и папа дипломат, и Италия, и Дом моды — все вранье! — в меня вселилась злость немалой силы. Первой мыслью было — порвать с ней, без всяких разговоров. Потом решил —

разоблачить; я уже видел, как она краснеет, заикаясь оправдывается... Но по пути к дому я немного остыл: «Все же полоумная теткахватила через край — «отравит, уколошит!». Конечно, неприятно, что она столько морочила мне голову, но, может, ей просто хочется быть «итальянкой», «модельершей», чтобы соответствовать мне поэту?» Я вдруг увидел Нелли — она рассказывает мне перед сном об Италии — голова запрокинута, волосы почти закрывают лицо, виднеется только профиль; тихим голосом она рассказывает мне очередную «вечернюю сказку». «Она, конечно, все придумала, но, чтобы так фантазировать, все-таки надо быть талантливой... И чего я добьюсь разоблачением?! Ну признается она в обмане и что? Только испортятся наши отношения... Я уже привык к ней такой, какой она хочет быть. Привык к ее заботе обо мне и восторженным откликам на мои стихи, а без ее «вечерних сказок» вряд ли уже смогу уснуть. И даже если она играет в любовь, я готов обманываться и дальше. Пожалуй, в совместной жизни и должна быть доля игры — это делает отношения более легкими, радостными, без всяких тяжеловесных выяснений, и потому более надежными, ведь хорошее никто не захочет разрушать... Пусть все останется, как есть!»

## ЧТО ТАМ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

Они познакомились ночью, на пожаре, когда стояли среди зрителей, потрясенных происшествием; стояли рядом и смотрели, как на противоположной стороне улицы полыхал двухэтажный сруб.

Дом загорелся в глухую полночь. Огненная волна вырвалась с нижнего этажа, взмыла вверх и понеслась по стене, зажигая наличники окон один за другим; перекинулась через оградительную решетку и растеклась по крыше. Потом вспыхнула другая стена. Два огненных потока схлестнулись на коньке крыши, послышался гул, в черное небо взлетел сноп искр, над улицей повисло зарево. Отражая пламя, стены близлежащих домов заблिकовали сполохами, окна заблестели, точно красная слюда. Раздались крики, хлопанье — в соседних домах жильцы выбегали из подъездов поглазеть на редкое событие.

Пламя росло, рев огня усиливался... Уже через пятнадцать минут жар от горящего дома достиг места, где толпились погорельцы, навьюченные узлами и сумками. Несколько смельчаков метались около горящего дома, оттаскивали вещи, наспех выброшенные из окон.

Вскоре появились пожарные машины. Без суеты, слаженно пожарные раскрутили шланги и принялись струями сбивать пламя.

Они стояли под деревьями. Он одной рукой держал за поводок собаку, другой опирался на палку; она, прижавшись к дереву, поеживалась от адского зрелища.

— Вы слышали, говорят, жильцы сами его подпалили? — спросил он, не поворачиваясь.

— Что вы такое говорите! Как можно?! — откликнулась она.

— Да, да... Я думаю, именно так и было. Сейчас все возможно... Знаете, есть практичные люди. Они рассуждают как? Чего там ждать неизвестно сколько очереди на новую квартиру. А так — раз! И пожалуйста, вам ордер. Есть такие!

— Ну я так не думаю! А как же вещи?! Неужели они ради квартиры готовы сжечь свои вещи, все, что нажито с таким трудом. Это невозможно!

— Хм, какая вы наивная... Ценные вещички они давно припрятали. Что вы! Там все четко продумано.

— Нет, нет, все-таки это чудовищно, то, что вы говорите!..

— А я уверен, что именно так все и было. Не случайно и пожарные приехали уже к шапочному разбору. Взгляните, что уж тут тушить! Они вон и поливают так, для вида.

— Что вы этим хотите сказать?

— А то, что их поздно вызвали... Извините меня, но в таком доме сколько квартир, как вы думаете? На нижнем этаже штуки четыре и на верхнем столько же, так? И что ж получается? Никто из жильцов не уловил запах дыма?.. Такое только в сказках бывает! Меня не проведешь. Я таких хитрецов вижу насквозь.

— Не знаю, не знаю. Как-то все это странно.

— Ничего здесь странного нет. Все ясно, как в божий день. Спрятали вещички, а дом подпалили; подождали, пока разгорится получше, чтобы нечего было ремонтировать, и потом уже вызвали пожарных. Ловкачи те еще! Ишь, стоят припечаленные! Вроде даже расшмыгались, расхлюпались. Актеры!

— Какой вы жестокий!

— Я не жестокий, сударыня, я справедливый... Во всем должен быть порядок. Я, извините меня, фронтовик. У меня обе ноги перебиты, — он возбужденно ударил палкой по

ноге. — Но ждал квартиры пять лет, как все очередники. А эти прохиндеи, извините за выражение, все норовят в обход закона. Не годится такое! Я на месте райжилотдела заставил бы их жить на этом пепелище. В шалашах, не иначе... Безобразие! Есть люди — в подвалах живут, и то ничего. А эти такой дом имели!

— Но он старый, деревянный.

— Ну и что?! Да деревянный дом, скажу вам, в сто раз лучше тепло держит, чем эти наши, блочные. И летом приятней — дерево дышит... А уж сколько он стоит? Лет пятьдесят, не меньше. Я помню, мы там на чердаке мальчишками лазили. Задолго до войны. И он еще столько же просто-ял бы. Наши блочные развалятся, а он все стоял бы. Сейчас ведь все делают тяп-ляп, на соплях, на скорую руку, для плана, а раньше все делали на совесть, без спешки, доброт-но, навечно...

— Да, — согласилась она. — Это вы верно сказали.

Одна из стен горящего дома завалилась и рухнула. В небо, крутясь и сгорая, взвились щепки и раскаленная древесная труха; отлетев в сторону и остынув на лету, они посыпались на землю черными хлопьями.

— Надо же, никогда не думала, что стекло плавится, — помолчав, кивнула она на оставшуюся часть дома, где стекло оконное стекло.

— Железо горит, а то стекло, — хмыкнул он. — Танк, знаете как горит?! Вот, пожалуйста, — он засучил рукав пиджака и показал на ожог. — Эти отметены мне до сих пор о себе напоминают... Сколько лет прошло, а вот нет-нет, да так разболятся, хоть на стену лезь. Делаю примочки, компрессы...

— Разве за вами некому ухаживать? — поинтересовалась она.

— Жена моя умерла. А детей у нас не было, не успели завести. Все она виновата...

— Кто?

— Война, кто же еще!

В лужах вокруг догорающего дома еще полыхали отблески, но небо уже начало светлеть. Пожар стихал. Пожарные уже разгребали дымящиеся развалины. Обугленные бревна стреляли и шипели, поднимая столбы красного дыма.

— И вот что интересно, — продолжал он. — Только заболит эти мои ожоги, зануют раны на ногах, сразу передо мной — мои боевые товарищи. Поверите ли, вижу их как живых, разговариваю с ними... Они ведь так и сгорели в нашей «тридцать четверке». Весь наш «экипаж машины боевой», как пели тогда.

— Как же вам удалось спастись? — торопливо спросила она.

— Просто повезло... Меня выбросило из машины взрывной волной... У нас, как вам объяснить, ну, в общем, башню сорвало снарядом и взорвался наш боеприпас... Лежал без сознания, горел, пока наши не подобрали...

— Господи! — вздохнула она.

— Да, вот так, сударыня... Ничего, подремонтировался в полевом госпитале, снова воевал, но уже в другой машине...

Повременив, он продолжил:

— Сейчас вот, я смотрю, люди измельчали... У нас в бойлерной... Я работаю в бойлерной, дежурю посменно. Понимаете ли, и приработок к пенсии, да и не могу я без дела. Как вам сказать, ну такой уж я человек.

— Это мне понятно, я тоже не могу без работы. Уж несколько лет, как могу уйти на пенсию, но не собираюсь. Чего дома-то сидеть? Но, простите, вы что-то рассказывали про вашу работу...

— Да, собственно, ничего особенного. Просто мой сменщик, молодой мужик, а представляете, копит перегорелые лампочки.

— Зачем?!

— Как зачем? В бойлерной выкручивает хорошие, вставляет перегорелые. Крохобор! Да еще вечно крутится возле начальства. Подлое унижение! Это я к тому, что люди сейчас измельчали... А мои фронтовые друзья, они ко мне иногда заходят, это люди настоящие. Люди старого закала... Нас все меньше остается. Дают о себе знать раны, переживания... А самые лучшие погибли. Самые отчаянные, самые честные, кто не прятался за спины других.

Пожар совсем затих. На месте бывшего дома виднелись тлющие остовы комнат и груды пепла; пахло гарью. Пожарные уехали и все разошлись, а они все стояли под деревьями — старик с суровым лицом и пожилая женщина с добрыми глазами и грустной улыбкой.

Наконец он повернулся:

— Позвольте вас проводить?.. Нам с Диком все равно пора прогуляться.

— Если это вас не затруднит, — она опустила голову.

Они пошли по тротуару в сторону ее дома.

— А я смотрю — в наших домах появилась новая женщина... Я не мог вас не заметить. Вы ведь недавно сюда приехали?

— Да, всего три месяца... Здесь хорошо. Зелени много... Я вас тоже видела, когда вы гуляли с собакой. Его Дик зовут?

— Дик, — он потрепал собаку по загривку, и пес завилял хвостом.

— Ну вот мы и пришли.... Вон мой дом, — она показала на новую, недавно построенную пятиэтажку.

— Если вы не спешите, может, мы погуляем еще? — предложил он.

— В другой раз с удовольствием. Меня ждет моя кошка.

Он жил в однокомнатной квартире, окна которой выходили в небольшой сквер. Обстановка в комнате была простой, без всяких излишеств, и жил он тихо, никому не досаждая, своими проблемами ни с кем не делился, но все равно считался старым брюзгой, стариком с тяжелым характером. Так случилось, что раза два он делал замечания молодым людям, которые по вечерам слишком веселились у подъезда, и с тех пор на него повесили это клеймо.

Соседи по лестничной клетке по нему проверяли время: в шесть утра он, стуча палкой, шаркал в ванну и там громко фыркал; в половине седьмого выгуливал собаку, в семь гремел чайником — готовил завтрак, в восемь отправлялся на работу. В полдень он приходил снова и, прихватив судки, шел в столовую, где брал обеды со скидкой. Вернувшись, обедал с собакой, минут десять с ней прогуливался около дома и опять ковылял на работу. Вечером все повторялось, только с собакой он гулял дольше. Перед сном он слушал по радио «последние известия» и погоду на следующий день, при этом бормотал:

— Не климат, а не поймешь что... Всю природу загубили. Потом спохватятся да поздно будет...

После демобилизации он работал мастером на заводе. Заработок и пенсия по инвалидности позволяли им с женой жить довольно прилично, они даже приобрели садовый

участок. Но потом у жены обнаружили туберкулез, и все их накопления, в том числе и участок, ушли на санатории и поездки к морю. Когда жена умерла, он уволился с завода и пошел работать в бойлерную.

Собака была подстать ему: старый кобель с узловатыми лапами. Как и хозяин, пес при ходьбе шаркал и кряхтел.

По воскресеньям к старику приходили фронтовые друзья. Они долго и шумно застольничали, пели военные песни. Поздно вечером он провожал гостей до автобусной остановки.

Она работала на почте, выдавала корреспонденцию... В пятиэтажке имела маленькую, но чистую, ухоженную комнату со множеством вышивок. Когда-то у нее была хорошая, дружная семья: муж офицер, две дочери. Но в начале войны муж ушел на фронт и вскоре был тяжело ранен. Она приехала в прифронтовой город, разыскала мужа в одном из госпиталей, услышала бормотанье:

— ...Знаю, не выживу... просьба к тебе... не выходи больше замуж... расти наших дочек и люби меня.

Ей было двадцать пять лет, но всю оставшуюся жизнь она прожила одна, выполняя эту просьбу... Всю жизнь заботилась о детях, работала даже во время отпусков и в выходные и праздничные дни; питалась плохо, ни разу не отдохнула по-человечески в доме отдыха; все деньги тратила на дочерей. Жили они в однокомнатной квартире на пятом этаже в доме без лифта.

Одно время к ее окну на почте повадился ходить мужчина: в день по два-три раза протягивал паспорт. Протянет и улыбнется. Ему не было писем, но он все равно ходил, а однажды протянул в окно билеты в театр и смущенно проговорил:

— Мне никто не может написать, у меня никого нет... Я хожу сюда из-за вас. Вы такая серьезная, аккуратная.

Она прибежала к подруге, кассирше:

— Прямо не знаю, что делать: идти или не идти в театр? Вроде, человек приличный, порядочный, не какой-нибудь там...

— Обязательно иди!

— Но у меня нет хорошего платья. Да и неудобно как-то.

Кассирша дала ей платье, но к театру она так и не подошла.

А ее дочери выросли эгоистками. Старшая вышла замуж, уехала к мужу и запретила матери появляться в своем доме, заявив: «Ты внука неправильно воспитаешь, и говоришь глупости». Младшая приводила парней, а мать спроваживала: «Пойди в кино... И до чего ты надоела, никого сюда пригласить не могу. Хоть бы комнату себе сняла, что ли!».

Почтовикам долго было непонятно, почему вдове фронтовика не предоставят отдельную жилплощадь, но однажды пронесся слух: будто бы ее муж вовсе и не умер, а выписался из госпиталя и остался в том городе. Будто бы завел новую семью и даже появлялся в Москве, хотел взглянуть на дочерей, но бывшая жена якобы его не приняла. Злой слух, ложный и обидный.

В конце концов она разменяла квартиру на две комнаты в коммуналках, и отдала дочери большую комнату, а сама переехала в маленькую.

На другой день на улице все только и говорили о пожаре... Она сидела на лавке во дворе своего дома и обсуждала с соседями подробности случившегося. К ее ногам ластилась пушистая кошка.

Он с собакой появился к вечеру. Еще издали поприветствовал женщин, приподняв кепку. Она взяла кошку на руки и пошла навстречу.

— Добрый вечер, сударыня... Мы с Диком за вами. Приглашаем с нами прогуляться.

— С удовольствием, только я сейчас отнесу Машу домой.

Увидев собаку, кошка спрятала голову под локоть хозяйки.

— Конечно, конечно... Если не возражаете, я подожду вас в том скверике, — он показал в сторону своего дома. — Здесь, извините, еще не совсем приглядный вид. У нас ведь как? Дом поставят, а убрать мусорные кучи не удосужатся. Посмотрите, что творится! Ну неужели нельзя все привести в порядок?!

— Да, да, я с вами полностью согласна, но где же ваша терпимость? Поберегите ваши нервы. Экий вы, право!.. Но... сейчас я приду.

— Я вас жду, — повторил он. — Я человек обязательный.

Она вернулась в новой кофте, и это он не оставил без внимания...

— Должен вам сказать, — продолжил он прерванный разговор, — я такой человек: если что мне не по душе, я об этом говорю прямо в глаза. Не люблю всякую скрытность, разные недомолвки. Согласитесь, перед вашим домом никудышный вид, а здесь тихо и деревьев достаточно.

— Да, здесь красиво!..

— Вот я и говорю, здесь можно спокойно поговорить.

Они пересекли сквер и сели на лавку, перед которой бродили голуби.

— Предательское время, — она улыбнулась, поправляя седой пучок на голове. — Кажется, еще совсем недавно я

сидела вот так, в сквере, с подругами, и было нам всего по двадцать лет... Мы с матерью жили на Цветном бульваре, знаете?

Он кивнул, отстегнул поводок.

— Иди, Дик, пройдишь! — и повернулся к ней: — Я вас внимательно слушаю...

— Да я ничего особенного и не могу рассказать. В моей жизни давным-давно нет ничего интересного... Мой муж погиб на фронте, дочери вышли замуж, а я работаю... доживаю свой век.

— Ну зачем вы так, зачем? — поспешно сказал он. — Вы еще вполне молодая женщина.

— Ой, не смешите меня!.. Взгляните на вещи трезво. У таких, как мы с вами, все уже в прошлом... Сдается мне, пора составлять завещание, приводить в порядок письма.

Он строго поджал губы.

— Я не спешу отправляться на небеса... Еще успеется, так я думаю. Скажу, не хвалясь, мне еще рано складывать оружие. А вам и подавно. Как можно такое говорить еще совсем молодой женщине?! И потом, понимаете ли, в старости есть свои радости. Смею вас уверить, есть. Взять хотя бы то, что уже на все смотришь философски.

— Какие радости?! О чем вы говорите?! Что за радость возиться со своими болезнями, быть всем помехой! — удрученно вздохнула она. — А невольно так получается. Я все время это чувствую. А вы разве нет?

— Как вам сказать? Вопрос серьезный... Если вникнуть, кому-то, может, мы и в тягость, а кому-то и нужны позарез. Не забывайте, на нашей стороне опыт и прочее. А потом, и у нас есть кое-что впереди.

— Что? — она вопросительно повернулась. — Что там еще впереди? О чем вы говорите?!

— Да, есть, — твердо сказал он. — Мы ведь в молодости были многим обделены. Сами знаете, нашему поколению досталось. А теперь надо наверстывать. К примеру, почаще выезжать на природу. Чего мы все шастаем по улице... Так получилось, что я почти не отдыхал в жизни. Все по врачам, санаториям с женой ездил... Она сильно болела. А там, в санатории, доложу вам, гнетущая обстановка. Увидишь такое, от чего еще больше разболеешься... Я вот все хочу присмотреть за городом небольшой домишко... Сад развести... Другое дело одиночество. Это незавидное положение. В этом весь секрет... Общими-то усилиями можно всего добиться, а одному трудновато... Не мешает рядом иметь друга, понимающего тебя человека... Сказать по совести, я давно об этом подумываю и, когда вас увидел, сразу решил...

Он осекся, потом показал рукой на балкон напротив.

— Квартира у меня не хуже, не лучше других. Но есть, конечно, кое-что интересное... И, вдобавок, я все делаю своими руками. Не считаю зазорным починить там туалет или еще что... Так что со мной необременительно, я много хлопот не доставляю...

От него на самом деле исходили уверенность и сила, некая крепкость еще не сдавшегося старика, но она недоуменно откинулась и ответила взволнованным смешком:

— Что вы этим хотите сказать?

— Ну, что мы... Ну, почему бы нам не вести совместное хозяйство? По сути дела... У меня особых сбережений нет, но я... не смотрите, что хромаю и прочее. Я еще достаточно крепок, смею вас уверить, — он хрипло засмеялся.

— Что вы такое говорите? — в замешательстве она пере-дернула плечами, покраснела и как-то неловко улыбнулась. — Как вы додумались до такого? Образумьтесь! Это в нашем-то возрасте? Да нас с вами засмеют, скажут «молодящиеся развалины».

— Мне все равно, что скажут. Умные не осудят, а на дураков не стоит обращать внимания. Короче, я все обдумал... Перебирайтесь ко мне!

— Вы сошли с ума, — дрогнувшим голосом проговорила она и слегка побледнела от волнения. — Это простительно юноше, а вы такой серьезный, осмотрительный, и вдруг... Вы забыли, по сколько нам лет. Это просто смешно. Просто смешно. В этом нет надобности... И потом, послушайте! Мы же совсем не знаем друг друга... Еще преждевременно об этом говорить.

Он обиженно смолк и сгорбился. Возникла мучительная пауза. Она растерялась от неожиданного натиска, этакое дерзкого вторжения в размеренный уклад ее жизни, но немного успокоившись, заговорила уже потеплевшим голосом:

— И как же вы все это себе представляете?

— Я все продумал, — снова воспрянул он. — Мы с вами подаем заявление, составляем список, что надо подкупить...

— Просто и не знаю, что вам и ответить. Все это так неожиданно...

— Я не тороплю вас с ответом, — почувствовав внезапное облегчение, он снова заговорил ровным голосом. — Хорошенько все обдумайте.

Вечером следующего дня они встретились, стесненно улыбаясь.

— Смех меня разбирает, когда представлю нас женихом и невестой, — сказала она. — Я подумала... И впрямь вдвоем легче вести хозяйство и вообще есть с кем поговорить вечером за чашечкой чая... Но давайте все-таки чуточку повременим.

— Конечно, конечно. Немного можно повременить, но особенно и затягивать не стоит. Раз вы в принципе не против, то мы должны все подробно обговорить, — довольный, что все улаживается, он взял ее за локоть. — Нужно решить, что подкупить, и прочее...

Она только улыбнулась:

— К чему такая горячность, такая спешка? И потом, я не знаю, смогут ли ужиться Маша с вашим Диком?

— Я так думаю, что вполне смогут... У Дика покладистый характер, разве вы не заметили?

## ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ни один мужчина, ни один нормальный мужчина, не имел таких диктаторских замашек, как Игорь. Масштабная, величественная фигура, он постоянно перегибал палку — жестоко тиранил близких, отчаянно пытался переделать жену, друзей и вообще весь мир. Он считал, что без него все пропадут, все развалится, небо упадет, солнце потухнет. При всем при этом он не выглядел клиническим идиотом с диким нравом и в некотором отношении был прав: лидер и должен быть жестким, иначе каждый начнет навязывать свое мнение, делать по-своему, тянуть воз в свою сторону. А Игорь был капитаном нашей байдарочной флотилии, ветераном речных походов, особым образом одаренным человеком: он много знал и умел и держал в голове сотни вещей одновременно, потому все время и владел нами и мы невольно ему подчинялись.

Когда он выходил из палатки — а капитан и на суше остается капитаном, и, кстати, от него даже спящего исходила властная мощь, — наступала тишина; мужчины насто-раживались в ожидании взбучки, их сердца начинали биться учащенно; про чувствительные женские сердца говорить не приходится — они просто-напросто замирали от страха.

— Пошевеливайтесь, мужики! — свирепо бросал наш могущественный вождь, широкими шагами пересекая поляну. — Только и умеете делать песочные куличики! Чуть трудности — прячетесь за юбки жен, трали-вали. Чуть не везет — ссылаетесь на плохое Отечество, дрянные условия. Придумали себе, понимаешь, маски мучеников. Не везет тем, кто ничего не делает, чтобы улучшить свою жизнь, не пытается изменить положение, сидит сложа руки, ругает судьбу, несправедливость... А вам, сударыни, — он перево-

дил взгляд на слабую половину компании, — вам помогу разобраться в жизни (он любил пафосные обороты, то есть в некотором роде был художником, его искусство следует назвать бунтарским; как всякий художник, он создал себе определенный образ, его приняли, и задача состояла в том, чтобы продлевать это изображение).

Дальше Игорь направо-налево отдавал приказания и следил, чтобы мы «не пугливо и бестолково, а добросовестно» выполняли всякую, даже самую черновую, работу, то и дело подходил и показывал, как усовершенствовать наши потуги, постоянно присутствовал во всех делах, и, надо сказать, мы нахватались немало полезного от его яркого присутствия.

Игорь знал себе цену, знал, что найти ему замену не так-то просто, и держался уверенно и дерзко, временами с торжествующим нахальством.

— Общество — это воронка: все толпятся, пытаются пролезть в узкость, но пролезают единицы, — говорил он, имея в виду нас, заурядных экспонатов, и себя — многоталантливую личность.

В то знойное удушливое лето мы две недели шли на байдарках по Ветлуге. Еще в Москве во время сборов Игорь бурно требовал:

— Готовьтесь ответственно. Мы выбрали для похода неплохую погоду, но по последним данным Ветлуга сильно обмелела, так что местами придется тащить лодки волоком. Надеюсь, мы благополучно преодолеем препятствия, опираясь на мой опыт (на эти слова он сделал особый упор). И с помощью Бога, естественно (он частенько поминал Бога, хотя ни разу не заглянул в Библию). И готовьтесь к встречам с башковитыми местными жителями. С ними ведите себя прилично, не выпендривайтесь. Учтите, в сельчанах обид-

чивость очень сильна. Впрочем, они быстро поставят вас на место — там, на Ветлуге, великие люди появляются каждые полчаса.

Жена Игоря тоже собиралась с нами в плавание, но ее старания выглядели беспомощными и жалкими; хрупкая музыкантша, с невообразимо белой, прямо-таки прозрачной кожей, она напоминала стеклянную бабочку, которая живет в каком-то другом мире, а среди нас присутствует только ее отражение.

— Байдарочные походы не для тебя, — объявил Игорь жене. — Ты думаешь, это прогулки в край чистых родничков и фиолетовых колокольчиков, а там топи и мошкара... Да и под рюкзаком ты сломаешься. Сиди дома, музицируй и жди меня... Женщина вообще создана для того, чтобы страдать, — безжалостно заключил он и, взвалив байдарку на плечи, исчез из дома.

Ветлуга — приток Волги, великой многоводной Волги, — один из самых безобидных притоков, спокойная речушка с песчаным дном и пологими берегами; она петляет среди лесов, полных трав и цветов. Там вообще немало всяких красот, но все они четко дозированы, без переизбытка. Известное дело: когда слишком много красоты, перенасыщаешься, и каждая красота в отдельности теряет самобытность и неповторимость. Единственно, что нам мешало рассматривать красоты (портило все картины), это ненасытные комариные тучи.

Так вот, мы шли по Ветлуге, несмотря на комаров, любовались красотами, на стоянках разбивали лагерь, устраивали вылазки в лес за грибами и ягодами, и набирались впечатлений, общаясь с местными жителями.

Этого самого общения было хоть отбавляй — просто-душные сельчане, подстегиваемые жгучим любопытством, так и липли к нам; дотошно рассматривали наше снаряжение, выспрашивали что к чему, а после застолья у костра (именно застолья, поскольку у нас был складной дюралевый стол), на которое Игорь щедро всех приглашал, с подкупающей открытостью рассказывали о себе. Руководил застольем, естественно, наш капитан; он вел стол артистично, тембр его голоса постоянно менялся и смахивал на игру воды на перекате. С нами, как всегда, говорил в наступательном тоне, смотрел с прищуром — во взгляде усмешка:

— Вырази свое мнение, выкладывай, что думаешь по этому поводу, но коротко, без всяких трали-вали.

Или:

— Успокойся, не возникай, дай другим высказаться!

К нашим гостям обращался предельно вежливо:

— Расскажи об этом поподробней, но вначале, если не возражаешь, пропустим по стаканчику наливки, чтобы мы выслушали тебя внимательней и прочувственней.

Что особенно знаменательно на Ветлуге, несмотря на убожество деревень, жители сохранили светлый взгляд на мир и нас встречали исключительно радушно. Здесь необходимо пояснение: встречали в основном жительницы; мужчин в деревнях почти не было — после армии парни, как правило, оседали в городе. Девушки и женщины без усталости расхваливали свои места:

— И воздух здесь чище, и трава зеленее, и вкуснее вода, и цветов таких нигде ни сыщешь...

При этом их глаза становились как эти неповторимые цветы, и они сами словно покрывались цветами. Они посмеивались над «суетливой городской жизнью», а пригубив

наливку, без всяких просьб затягивали песню. И все, с кем мы сталкивались, пытались еще больше скрасить наше и без того красочное пребывание на Ветлуге. Одна девушка с невероятным рвением показывала грибные поляны, чуть ли не насильно отвела на «рыбную заводь»; другая вызвалась, «если чего надо», съездить на велосипеде в райцентр, а перед нашим отплытием притащила охапку моркови с ботвой, «прямо с грядки» — сказала и протянула, как прощальный букет, а потом еще долго сопровождала байдарки по берегу, выкрикивая, где огибать топляки и заманихи — по ее лицу было видно: — она готова плыть с нами куда угодно, только позови.

Ох уж эта доверчивая, податливая славянская душа! Ее унижают, над ней измываются, а она все терпит, все прощает. Ну разве не издевательство над людьми — при таких пространствах выделять под частную собственность шесть соток земли?! И платить копейки за тяжелый труд на земле?! А бездорожье, когда магазин и почта за пять-семь километров, телефон и медпункт и вообще в райцентре?! Но сельским жителям несвойственно плакаться; они довольствуются немногим. Спросишь про пенсию у какой-нибудь старушки, а она только махнет рукой:

— Какая пенсия?! Подачка одна. Еще чего, хорошую пенсию захотели! С жиру беситься будем, — и тут же на лице появится улыбка: — Но я картошки много посадила и курочек держу. Не пропаду.

И здесь нет никакой бравады — сельчан спасает природная смекалка и оптимизм, да и деньги на Руси никогда не были главным; на первом плане — дружелюбие, милосердие, сострадание.

Редко, но появлялись на реке и представители мужского населения. На одной из стоянок к нам заглянул парень с вытянутым небритым лицом; назвался трактористом Федором и с ходу, в виде подарка, протянул банку солярки «на случай непогоды, чтоб разжечь костер». Затем с видом знатока осмотрел наши плавсредства и заявил:

— Ваши лодки того гляди пропорют днище, а наши идут, как рыбки, даже против течения. Улавливаете?

Игорь кивнул за всех нас.

— В другой раз навещаетесь сюда, такой тяжелый груз брать ни к чему, — продолжал тракторист. — Возьмете наши лодки. У нас народ не прижимистый, дешево отдадут. А если вернете, то и за просто так.

— Ценная мысль, — сказал Игорь. — Поплывем, как дикари, на пирогах, трали-вали. Окунемся в настоящую первобытность. И палатки не возьмем — будем строить вигвамы.

— И спички, и консервы не возьмем, — насмешливо проронил кто-то из нашей команды.

— Именно! — повысил голос Игорь. — Зато будет возможность проверить, на что мы способны. Поставим опыт на выживание. Бог нас не оставит.

— А ниже по реке, ближе к городу, народ прижимистый, избалованный, — гнул свое тракторист; он рассказывал о том, что для него имело значение, и не вникал в отвличенную болтовню. — Там за лодки обдерут как липу.

— Продолжай, Федор, не отвлекайся, — вставил Игорь.

— Там жизнь беспокойная — деревенские с дачниками воюют. Дачникам-то участки выделяют получше. И стройматериал у них первый сорт. Ну деревенских и заедает. Одну дачку спалили, сказали, «нам новых буржуев не надо».

— Это ж вопиющее варварство! — вскипел Игорь. — И что за угловатые речи?! Сколько раз замечал: кто коряво говорит, тот коряво и мыслит. Но ты, Федор, продолжай. Ты выдаешь драгоценную информацию.

— Да погорелец новый домишко отгрохал. Кирпичный... Только ему записку подкинули: «А это произведение искусства мы взорвем». И что он, дачник то есть, сделал? Оставил бутылку ацетона с наклейкой «водка». Оставил как выпивку. Ну весной открыл дачку, а там два труп.

— Слушай, Федор, — Игорь поднял руку. — Это можно принять только в порядке бреда. Не пугай наших женщин, смотри — они уже съежились от страха. Расскажи что-нибудь прекрасное!

— А прекрасное все здесь у нас, — тракторист расплылся и обвел рукой поляну; его улыбка была шириной с Ветлугу.

На другой, более шикарной стоянке, где были заросли орешника и в остроконечных травах прямо кишели жуки, к нам зачастил толстогубый пастух Иван, мужик лет сорока. Отогнав коров в луга, этот Иван появлялся в лагере и заводил осторожный, чрезвычайно тонкий разговор:

— Можно два слова? Я вот смотрю на ваши мытарства и кумекаю: неужто людям в радость такой мученический отдых? Слепни, комарье, сон на земле, кострища — вон как прокоптились...

— Видишь ли, в чем дело, — отзывался Игорь, — для нас, горожан, повкалывать на природе — лучший отдых, траливали. Ведь мы целый год сидим в своих конторах без движения, наращиваем зады... Вот ты-то все время работаешь на свежем воздухе. Видит Бог, ты счастливчик.

— Ну если вы называете это работой, то я работаю, — Иван смотрел в сторону лугов, где паслось его разноцветное

стадо, потом снова обращал взор на наш лагерь и пытался сформулировать новую мысль: — С позволения сказать, ну какая радость без толку махать веслом, гнать неизвестно куда? Краше наших мест все равно не сыщете. Остановились бы тут, поселились бы в избе — у нас полно пустующих, к ним дачники еще только приглядываются... Баньку бы приняли, попарились бы всласть с березовыми веничками. У меня имеются.

— Иван, ты прекрасный человек, — говорил Игорь. — Не знаю, как тебя и благодарить. Клянусь, мы не забудем о твоём благородном порыве, но понимаешь, какая штука: мы непоседы, больше двух-трех дней на одном месте нам никак не усидеть. Здесь красотища, роскошества хоть куда, ей Богу! Но нам кажется — впереди нас ждут красоты не хуже, а может, даже... Впрочем, наверное, это заблуждение, трали-вали, но это заблуждение нас и подгоняет. В широком смысле слова.

После одного из таких малоубедительных доводов, когда Игорь от имени нашего табора отказался ночевать на сеновале пастуха (тот обещал угостить мочеными яблоками), Иван насупился и решил покинуть нас. Желая смягчить свой отказ, Игорь сказал:

— Давай, неси яблоки, а у нас есть наливка, устроим шикарный обед.

Во время обеда мы что-то разгулялись не на шутку, и после трех бутылок наливки мужская половина компании потребовала от Игоря дополнительного «горючего» (в честь хорошей погоды, приличного улова рыбы и прочего). Кстати, стоянку затоплял резкий полуденный свет, и сухой обжигающий воздух придавал алкоголю дополнительную си-

лу. На наши требования Игорь скорчил кислую ухмылку и провозгласил траурным голосом:

— Клянусь Богом, наливки больше нет. Такова наша оснащенность. Прикончили последние три бутылки.

Услышав эту скорбную цифру, мы приуныли, но внезапно оживился Иван; он объявил, что в сельмаг соседней деревни накануне завезли «Рябиновку» и он готов быстро туда «сшастать».

— Сможешь без дураков? — усомнился Игорь, явно при-нижая возможности нашего друга-собутельника.

— Не впервой, — Иван встал, одернул рубаху и напустил на себя важный вид, тем самым подчеркивая всю серьезность предстоящего дела.

— Вообще-то я не любитель затяжных выпивок, траливали, — произнес Игорь, — но уж ладно, сегодня можно расслабиться, завтра нам предстоит длительный переход.

Наш вождь выделил Ивану десять рублей на пять бутылок, с тем чтобы пару распить, а остальные приберечь для следующей стоянки.

— Скоро вернусь, — бросил Иван и исчез в кустах.

Прошло часа три. Уже вечернее солнце клонилось к закату, в низинах появились мглистые клочья тумана, уже Ивановы коровы сами по себе побрели в деревню, а пастуха все не было. За это время наши головы проветрились и в них появился новый строй мыслей: «Чего завелись? Надо было выделить Ивану напарника. Может, что случилось?!». Вначале Игорь с вялой озабоченностью ходил вокруг костра и только морщил лоб и бормотал:

— Несуразная ситуация. Простор для догадок, траливали. Но вскоре его волнение усилилось:

— Здесь что-то не так! — и наконец ткнул в меня пальцем: — Посылаю тебя в деревню на разведку.

Я двинул к домам, теснившимся на косогоре. Первая же встреченная мною женщина, узнав, что я разыскиваю пастуха, разразилась смехом.

— Иван-то? Небось где-нибудь отсыпается пьяный в канаве. Берет у всех деньги в долг и пропивает...

Вернувшись в лагерь, я сообщил этот безрадостный факт.

— Ничего себе вечерочек! Новости прекрасные, лучше не бывает, — хмыкнул Игорь. — Неужели этот прощелыга нас облапошил?!

Женская половина компании позеленела от злости.

— Жульничество! Надо его проучить, чтобы больше не выкидывал таких фокусов! Отлупить и никаких гвоздей!

— Не психуйте! — Игорь поднял руку, прерывая искрометные мысли женщин. — Если он так мелко нас обманул, проучить его, бесспорно, надо. Напомнить, что такое честность. Поступим так: разыщем его дом, возьмем какую-нибудь дорогую вещь вроде телевизора и вернем, когда отдаст деньги.

Затея обещала быть интересной, и в деревню мы отправились всей компанией. Наш грозный настрой держался до тех пор, пока около молочной фермы нам не указали на дом пастуха — покосившуюся избу, с окнами, местами забитыми фанерой; вокруг избы бушевали сорняки. Мы сразу поняли — дорогих вещей в таком жилище быть не может, но все же отворили дверь.

В тускло освещенной комнате стояла допотопная мебель бредовой раскраски, за простенькой занавеской, засиженной мухами, виднелись печь и дешевая кухонная утварь; из «дорогих» вещей мы разглядели старый радиоприемник «Рекорд» и будильник с вывернутыми наружу внутренне-

стями. Вдрызг пьяный Иван лежал распластавшись на кровати и блаженно улыбался — он уже находился вне времени и пространства и был счастлив по уши. Перед кроватью на полу играли двое полуголых чумазных детишек.

Несмотря на это удручающее зрелище, Игорь растормошил доходягу пастуха и, стараясь удержать в голосе негодование, спросил:

— Ты почему нас надул?! У тебя совесть есть?!

Но у Ивана начисто отшибло память, он смотрел на нас как на пришельцев из другого мира; сидел на кровати, улыбался, и вся его пьяная физиономия выражала тихое, бессмысленное счастье.

В избу вбежала молодая и красивая, по-настоящему красивая женщина, с большими пытливыми глазами; вытирая руки о передник, обеспокоенно проговорила:

— Он взял у вас деньги? Сколько? — она достала из кармана кошелек.

— Не в деньгах дело, — меняя тон, тихо сказал Игорь. — Просто он нас надул, и, если его не проучить, он и других туристов...

— Не трогайте его, — взмолилась женщина. — Он сейчас все равно ничего не соображает, — она протянула несколько купюр. — Вот возьмите.

Игорь замотал головой и направился к выходу.

— Вы его жена? — спросил кто-то из наших спутниц.

Женщина кивнула и устало опустилась на стул; сняла козынку — на плечи упала копна роскошных волос.

— Что ж живешь с таким пьяницей? — глухо спросил Игорь у порога.

Женщина не ответила, только наклонила голову — волосы совсем закрыли ее лицо.

— А кем работаешь?

— Дояркой... Услышала, разыскиваете нашу избу, сразу поняла — что-то неладное. Вот и прибежала.

— Тебе надо с ним развестись, — Игорь кивнул на Ивана, который снова завалился на кровать, с еще более счастливой улыбкой. — Это не жизнь. И вообще тебе надо уехать отсюда в город. Ты молодая, красивая, не пропадешь.

— Кому я там нужна... с двумя детьми, — женщина глубоко вздохнула и отвернулась.

В лагерь мы возвращались понурыми, наш вождь долго молчал, правда, вышагивал впереди и, как бы подбадривая себя, бормотал: «Трали-вали, трали-вали» — в том смысле, что все это суета, что все это отойдет в прошлое и превратится в историческое предание. Игорь явно давал понять, что он по-прежнему сильный, деятельный, просто с ним случилась маленькая неприятность. Только у реки, чтобы подытожить поход в деревню, он сказал:

— Бог с ним, с Иваном, простим ему этот грех, и не стоит надолго запоминать этот жаркий денек. Ведь высокие требования можно предъявлять только близким людям. А вот доярку жалко. Совсем молодая и красавица. Впрочем, в этом захолустье наверняка женщина рассуждает: «Хорошо хоть такой муж есть». Здесь выбирать не приходится...

Вернувшись в Москву, я часто вспоминал красоты Ветлуги: песчаные отмели, цветы на берегах — этакое желто-розовое пространство, облака, которые клубились, разрастаясь над рекой. Но, честно говоря, больше всего запомнились красавица-доярка и комары.

## НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Теперь, когда я стал старым и смотрю на прожитые годы с огромной высоты, так хотелось бы забыть многие свои слова и поступки. Не тут-то было — они насаждают со все возрастающей силой и я только догадываюсь, какая жестокая расплата ждет меня на небесах. Вспоминая прошлое, даже и не знаю, чего я сотворил больше — хорошего или плохого. Правда, недавно припомнился один случай, когда поступил вполне достойно. Это не было героическим подвигом — всего лишь незначительное действие — серьезный писатель и не взялся бы за такой сюжет, — но я не писатель, а просто литератор, и расскажу об этом случае, не заботясь о чистоте жанра — пусть это будет нечто среднее между рассказом и очерком.

В молодости, после женитьбы, я некоторое время жил у родителей жены — мы ютились в одной комнате, перегородженной шкафом, да еще в коммуналке.

Теща во мне души не чаяла; единственно в чем меня обвиняла — это в том, что я не умею «хозяйствовать» (она работала продавщицей в «хозтоварах») и время от времени рассказывала про «обеспеченных» поклонников, от которых ее дочь «дуреха» отказалась ради меня «художника голодранца», что было правдой — весь мой капитал состоял из мольберта и байдарки. А в остальном, повторяю, теща не чаяла во мне души.

С тестем мне повезло особенно — он был великим молчаливником, и у нас сразу установились тонкие деликатные отношения, построенные на придыханиях тестя:

— Хм!.. Да уж!.. Чего там!..

Меня вполне устраивал этот птичий язык.

Тесть крепко верил в Бога, и домашних и соседей считал грешниками, не достойными его внимания; если он с ними и говорил, то поучал или клеймил, и все наставления заканчивал безнадежным вздохом:

— Да, чего уж там!

И дальше адресовал сам себе:

— Слово не воробей — выпустишь, не поймаеть.

Или:

— Слова — серебро, молчанье — золото.

Раза два в неделю мы с тестем выпивали. Исключительно портвейн. Но во время постов, которые тесть частично соблюдал, переходили на ликер. В трезвости тесть на умного не тянул, точнее — выглядел угрюмым дураком, но после первого стакана становился разговорчивым и даже умным. Как-то изрек свою теорию:

— ...Бог все сделал прекрасно на земле, и хотел, чтоб человек стал ему подобным. Но человек не стал. От человека все зло на земле... И искусство от дьявола. Лучше Бога все равно не сделаешь.

После второго стакана у тестя начинались отклонения в две стороны: он или засыпал на стуле, или шел в киоск за «Вечеркой»; по пути проветривался, обретал второе дыхание и, вернувшись, предлагал мне «освежиться» еще раз.

Соседнюю комнату занимали тихие супруги. Он — какой-то завбазой, — постоянно хвастался невероятными «левыми» заработками. Помнится, я устал подсчитывать его доходы и никак не мог взять в толк, почему он не купит отдельную квартиру. Его жену — «самую глупую женщину на свете» (выражение тестя) — отличала лень: целыми днями она лежала на тахте и смотрела телевизор. Ради справедливости следует отметить — раз в месяц она пекла яблоч-

ный пирог и вкладывала в него всю душу. Известное дело — ленивые люди если уж что делают, то добросовестно.

С завбазой я покуривал на кухне и, бывало, в момент нашего наивысшего кайфа, на кухне появлялась его жена. Демонстрируя счастливую семейную идиллию, она обнимала мужа, целовала, а он отмахивался:

— Полно тебе, экая ты смелая!

Она все ластилась, тянула его в комнату:

— Дорогой, пойдём посмотрим телевизор.

— Спасибо! Насмотрелся до тошноты, — бурчал завбазой и, слабо сопротивляясь, все-таки шел, при этом успевал мне подмигнуть, как бы говоря: «Ничего не попишешь! Ради мира в семье, пойдешь не только к телевизору!».

В комнате, примыкавшей к кухне, обитало семейство «скандалистов» (выражение тестя): шофер Виктор, вся фантазия которого упиралась в бутылку водки, его жена бухгалтер Татьяна, грузная женщина с низким задом, и их сын Вовка, светлоголовый ушастый второклассник.

В отличие от наших с тестем невинных выпивок, Виктор хлестал водку стаканами — полными гранеными стаканами (по его понятиям, наливать не полный неприлично), и выпивал каждый день после работы во дворе за бойлерной, и каждый раз с новыми собутыльниками (и где их откапывал?)

В подпитии Виктор был безумен; его безумие проявлялось по-разному: в будние дни на его лице появлялись какие-то ненормальные гримасы — похоже, они означали отвращение ко всему, что его окружало. В конце недели он непременно бил жену. Отлупить в пятницу жену — он считал святым делом.

Татьяна стойко переносила побои — вероятно, считала их некой священной войной, необходимым ритуалом каж-

дой нормальной семьи. Но иногда она все же выходила из себя и отправлялась в крестовый поход на мужа: называла его «неотесанным увальнем», «алкоголиком», а получив за это очередную оплеуху, кричала:

— Убирайся из дома, скотина! — и убежала в ванную.

Минут через десять, немного остыв, она снова заглядывала в комнату и, увидев спящего мужа, восклицала:

— Ты еще здесь, скотина?! Фьють отсюда!

Эта игра слов, необычная комбинация «скотины» и «фьють» приводила меня в восторг, но не нравилось, что дикие семейные сцены видит малолетний Вовка. Случалось, зареванный мальчишка прибежал к нам и теща с моей женой Валентиной всячески успокаивали его, совали конфеты, а я рисовал ему зверей.

Надо сказать, Виктор временами производил впечатление толкового, башковитого парня; временами у него даже проскальзывало чувство юмора, естественно, грубоватого — на свой шоферской манер. Как-то тесть, пропустив стакан портвейна, сказал Виктору:

— Что ж ты пьешь водку? Ты ж мусульманин! (У шофера мать была татарка).

— Во-первых, у меня отец русский — Кочетов, — объявил Виктор, состроив свою ненормальную гримасу. — Во-вторых, в коране написано про вино, про водку ничего не сказано. И вообще, религия — сказка для взрослых.

Как-то Вовка при отце на кухне ляпнул:

— А наш папка вчера опять был пьяный!

— Я притворялся, — пропыхтел Виктор.

— Нет! — качнул головой Вовка, твердо отстаивая правду. — Ты был пьяный.

— Что ты городишь, чертенок?! — возмутилась Татьяна, явно не желая «выносить сор из избы», как будто пьянство ее мужа было для нас новостью.

— Тебе уже девять лет и пора научиться отвечать за свои слова, — проговорил Виктор, завышая требования к сыну. — Иди делай уроки, — он легко шлепнул Вовку по затылку.

Скандалы и драки в том семействе продолжались до тех пор, пока Виктор не завел на стороне «тихую собутыльницу» (определение тестя) и стал все реже появляться в семье. Вскоре он вообще перебрался к «собутыльнице», правда, часть полочки приносил Татьяне, а по праздникам дарил Вовке шоколадки.

Однажды накануне Нового года Виктор объявился, передал жене деньги, спросил у сына «как дела в школе» и направился к выходу, но Вовка схватил его за руку.

— Пап, а Генке вызвали из фирмы «Заря» Деда Мороза со Снегуркой. А мне ты даже билет на елку не купил.

— Да на кой черт тебе эта елка?! Ты уж взрослый парень, тебе уже не Деда Мороза надо вызывать, а одну Снегурку, — Виктор ухмыльнулся, довольный своим шоферским юмором. — Из другой фирмы.

— А зачем? — Вовка вскинул на отца чистые, невинные глаза.

— Спроси у дяди Леши, — Виктор кивнул на меня и, посмеиваясь, удалился.

Долго я выкручивался перед Вовкой, пытаюсь объяснить, что его отец имел в виду: говорил, что Дед Мороз старенький, часто болеет и прочее; что бывает, Снегурке приходится ездить одной. Вроде убедил мальчишку.

Под Новый год Татьяна затеяла уборку в комнате, Вовка без дела слонялся по квартире. Мы с тестем приняли по стакану портвейна и мне в голову пришла замечательная идея.

— Давай-ка устроим Вовке праздник, — сказал я жене. — Сходи купи краски или пластилин, а я наряжусь Дедом Морозом.

— Чтой-то в тебе взбрыкнуло детство? — хмыкнула теща.

— Ты большой мальчишка, и, наверно, никогда не повзрослеешь, — вздохнул тесть. — Романтики неплохие люди, но они отгораживаются от действительности (я же говорю, после первого стакана тесть умнел).

Но жена Валентина поддержала мою замечательную идею — она ждала ребенка и при случае репетировала роль матери, — а здесь такая затея! С моей подачи она сходила в магазин, купила краски, добавила к ним печенье, конфеты, все уложила в пакет и обвязала красивой лентой. Затем намазала мой нос и щеки помадой, приклеила из ваты бороду и усы, накинула на меня простыню и сзади заколола ее булавками; на голову я напялил красную кофту жены — сделал что-то вроде шапки; посмотрел на себя в зеркало и увидел вылитого Деда Мороза.

Под каким-то предлогом Валентина вызвала Вовку на кухню (он все слонялся по коридору взад-вперед) и я незаметно прошмыгнул на лестничную площадку. Выдержал паузу и позвонил. И услышал голос жены:

— Вова, открой, пожалуйста!

Открыв дверь, Вовка онемел: разинул рот, его глаза расширились до невероятных размеров.

— Здесь живет мальчик Вова Кочетов? — густым басом произнес я.

Потрясенный Вовка еле шевельнул губами:

— Это я.

— Ты хорошо учишься?

Вовка только и смог кивнуть, и все смотрит на меня снизу вверх ошеломленно-восторженно.

— Молодец! Вот тебе подарок! (на большее у меня не хватило фантазии, к тому же, я боялся перестараться и выдать себя голосом).

Протянув Вовке подарочный пакет, я стал ждать, когда он закроет дверь, поскольку сам повернуться не мог — протыня еле держалась на булавках.

Но Вовка не шевелился, словно обмороженный; он был в шоке — все смотрел на меня, распахнув глаза и разинув рот, даже побледнел от прилива чувств.

— Может у тебя есть какие желания? — выдавил я, надеясь, что Вовка попросит какую-нибудь заводную машинку, которую я ему позднее «пришлю», но он вдруг сглотнул и тихо сказал:

— Дед Мороз, сделай так, чтобы папка снова жил с нами.

Мне только и оставалось пробормотать «постараюсь», после чего я толкнул дверь и когда она захлопнулась, слышался душераздирающий вопль:

— Мама! Ко мне Дед Мороз приходил!

Как мы договорились заранее, Валентина пошла за Вовкой в их комнату — как бы рассмотреть подарок, а я бесшумно открыл дверь и проскользнул в нашу комнату; быстро снял маскарадные атрибуты, стер с лица «грим», лег на тахту и уткнулся в книгу.

— Ну вот, теперь можешь подрабатывать на елках, — усмехнулась теща. — Все лучше, чем малевать картинки.

Тесть лишь вздохнул:

— Да уж!

Через пару минут к нам влетел торжествующий, покрасневший Вовка.

— Дядь Леш! Ко мне только что Дед Мороз приходил! Вот подарок!

— Очень хорошо, — стараясь быть невозмутимым, сонно протянул я. — А что ж ты не пригласил его к нам?

Я давал понять, что все это время безмятежно лежал на тахте и вполне мог бы побеседовать с Дедом Морозом. Чтобы придать еще большую реальность случившемуся и откреститься от бородатого гостя, спросил:

— А он какой? Высокий или маленький, тонкий или толстый?

Теща с тестем одновременно хмыкнули, но надо им отдать должное — не выдали меня.

— Высокий! — горячо выпалил Вовка, высоко поднимая руки и привставая на цыпочках. — Выше вас!..

Это мне понравилось больше всего — какое же сильное потрясение испытал мальчишка, если я даже стал выше ростом!

На секунду Вовка замешкался и вдруг понесся к входной двери.

— Может, он еще не ушел?!

Вовка оглядел лестницу, снова вбежал к нам и пробормотал:

— Куда же он так быстро делся?

— Наверняка пошел к другим ребятам. Ты же у него не один. Ему, знаешь сколько, ребят надо обойти! — я уткнулся в книгу.

— Побегу к Славке! Может и к нему приходил! — Вовка вновь ринулся на лестничную площадку.

Славка жил этажом выше, и через две-три минуты Вовка вернулся — растерянный, встревоженный.

— А к Славке не приходил. Почему только ко мне?

— Возможно, еще зайдет, — спокойно откликнулся я. — И потом, может, Славка учится плохо?

В этот момент щелкнул замок входной двери и в коридор вошел вдрызг пьяный Виктор. Вовка бросился к отцу:

— Пап! Ко мне Дед Мороз приходил!

— Да ладно... врать-то, — отмахнулся Виктор.

— Правда, правда! Спроси у кого хочешь! Щас подарок покажу!

Вовка сбегал за подарком.

— Вот!

Виктор скорчил «ненормальную» гримасу и стал шарить по карманам.

Вовка обратился к моей жене:

— Теть Валь, скажите папке! Он не верит!

— Да, приходил, — с серьезным видом подтвердила моя жена. — Я даже его немного видела.

Вовка хотел призвать на помощь мать, но передумал.

— Хватит меня дурачить! — буркнул Виктор. — Небось Лешка нарядился, — он сунул сыну шоколадку и зигзагом направился к двери. — Ты, Вовка, дуралей! Взрослый парень, а веришь в сказки!

Вовка остался в коридоре, сжимая подарок. Его взгляд метался от отца к Валентине, от входной двери к нашей комнате; в нем шла страшная борьба между верой и сомнением. Он заглянул в нашу комнату — его лицо вновь стало белым, как маска.

— Дядь Леш, а ты куда не уходил?

— Никуда, Вовка! — сказал я, глядя ему прямо в глаза, твердо зная, что никто никогда не заставит меня признаться в обмане, даже если на меня наведут пистолет.

## СОДЕРЖАНИЕ

Мой великий друг.....	3
Колыбельная для усталой души.....	14
Зверинец в угловой комнате .....	22
Тот самый чудак.....	39
Трава у нашего дома .....	48
Ангел пролетел .....	62
Заколдованная.....	68
Маленький остров, обдуваемый со всех сторон ветрами .....	104
В подвале .....	123
Вечерние бульвары .....	133
Танцующие собаки .....	169
Женщина из тайги .....	176
Ночной ливень .....	187
Закрой дверь в прошлое, или Привет с кладбища! .....	194
Женщина моей мечты.....	213
Некрасивая .....	226
Вечерние сказки .....	254
Что там ещё впереди? .....	266
Прекрасный человек .....	279
Новогодний подарок.....	291

Сергеев Леонид Анатольевич

## ЗАКОЛДОВАННАЯ

*Рассказы*

Издательство «Спутник +»

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8А.

Тел.: (495) 730-47-74, 778-45-60 (с 9.00 до 18.00)

Подписано в печать 16.08.2016. Формат 60×90/16.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 18,75. Тираж 200 экз. Заказ 842.

Отпечатано в ООО «Издательство «Спутник +»